Троцкий

Итоги и перспективы

М., 1919

ИМЛ—Библиотека
ЕН 171
И 961

ЕНП
п961

Л. ТРОЦКИЙ

ИТОГИ и ПЕРСПЕКТИВЫ

Движущие силы революции

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ МИР»

МОСКВА
1919

Л. ТРОЦКИЙ.

ЕЧ 171
И 961

ИТОГИ и ПЕРСПЕКТИВЫ

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЕВОЛЮЦИИ [1]

М., 1919

3-й экз.

ЕН 171
И 961

БИБЛ[illegible]КА
Ин-та марк[illegible]изма
при ЦК [illegible]ПСС

1062499

сф
42373

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Вопрос о характере русской революции был основным вопросом, по линии которого группировались различные идейные течения и политические организации в русском революционном движении. В самой социал-демократии этот вопрос с того момента, как он ходом событий стал получать конкретную постановку, вызвал крупнейшие разногласия. С 1904 года эти разногласия улеглись в два основных течения—меньшевизм и большевизм. Меньшевистская точка зрения исходила из того, что наша революция будет революцией буржуазной, т. е. будет иметь своим естественным последствием передачу власти буржуазии и создание условий буржуазного парламентаризма. Точка зрения большевиков, признавая неизбежность буржуазного характера грядущей революции, в качестве задач ее выдвигала создание демократической республики путем диктатуры пролетариата и крестьянства.

Социальный анализ меньшевиков отличался чрезвычайной поверхностностью и, в сущности, сводился к грубым историческим аналогиям, — типичному методу «образованного» мещанства. Указания на то, что условия развития русского капитализма создали чрезвычайные противоположности на обоих его полюсах и обрекли на ничтожество буржуазную демократию, не удерживали меньшевиков, как не удержали их и дальнейший опыт событий, от неутомимых поисков за «подлинной», «настоящей» демократией, которая станет во главе «нации» и установит парламентские, по возможности демократические, условия капиталистического развития. Меньшевики везде и всюду выискивали признаки развития буржуазной демократии, а если не находили, то выдумывали их. Они преувеличивали значение «каждого демократи-

ческого» заявления и выступления, преуменьшая в то же время силу пролетариата и перспективы его борьбы. Они так фанатически стремились найти руководящую буржуазную демократию, чтобы обеспечить «закономерный» буржуазный характер русской революции, что в эпоху самой революции, когда руководящей буржуазной демократии не оказалось на лицо, меньшевики взяли на себя с большим или меньшим успехом выполнение ее обязанностей: ведь совершенно ясно, что мелко-буржуазная демократия без всякой социалистической идеологии, без классовой марксистской подготовки не могла бы в условиях русской революции поступать иначе, чем поступали меньшевики в качестве «руководящей» партии февральской революции. Отсутствие серьезной социальной основы для буржуазной демократии сказалось на самих меньшевиках тем, что они очень быстро изжили себя и на восьмом месяце революции оказались ходом классовой борьбы отброшены прочь.

Большевизм, наоборот, отнюдь не был заражен верой в могущество и силу революционной буржуазной демократии в России. Он с самого начала признавал решающее значение рабочего класса в грядущей революции, но программу этой революции он на первых порах ограничивал интересами многомиллионных крестьянских масс, без которых и против которых революция не могла быть пролетариатом доведена до конца. Отсюда признание (до поры до времени) б у р ж у а з н о-демократического характера революции.

В отношении оценки внутренних сил революции и ее перспектив автор не примыкал в тот период ни к тому, ни к другому из главных течений в русском рабочем движении. Защищавшаяся автором точка зрения может быть схематически формулирована так: начавшись, как буржуазная по своим ближайшим задачам, революция скоро развернет могущественные классовые противоречия и придет к победе, лишь передав власть единственному классу, способному встать во главе угнетенных масс, то-есть пролетариату. Встав у власти, пролетариат не только не захочет, но и не сможет ограничиться буржуазно-демократической программой. Он сможет довести революцию до конца только в том случае, если русская революция перейдет в революцию европейского пролетариата. Тогда буржуазно-демократическая программа революции будет преодолена вместе с ее национальными [illegible], и временное политическое господство

русского рабочего класса развернется в длительную социалистическую диктатуру. Если же Европа останется неподвижной, буржуазная контр-революция не потерпит правительства трудящихся масс в России и отбросит страну далеко назад—от демократической республики рабочих и крестьян. Став у власти, пролетариат должен будет, поэтому, не ограничивать себя рамками буржуазной демократии, а развернуть тактику перманентной революции, т. е. уничтожить границы между минимальной и максимальной программой социал-демократии, переходить ко все более и более глубоким социальным реформам и искать прямую и непосредственную опору в революции на Европейском западе. Развитию этой позиции, ее обоснованию посвящена переиздаваемая в настоящее время работа, которая писалась в 1904—1906 гг.

Отстаивая в течение полутора десятилетий точку зрения перманентной революции, автор впадал, однако, в ошибку в оценке боровшихся фракций социал-демократии. Так как обе они исходили тогда из перспектив буржуазной революции, то автор полагал, что разногласия между ними не настолько глубоки, чтобы оправдывать раскол. В то же время он надеялся на то, что дальнейший ход событий обнаружит воочию бессилие и ничтожество русской буржуазной демократии, с одной стороны, и об'ективную невозможность для пролетариата удержаться в рамках демократической программы, с другой, и таким образом, вырвет почву из под фракционных разногласий.

Стоя в эмиграции вне обоих фракций, автор не дооценивал того капитальнейшего факта, что по линии разногласий между большевиками и меньшевиками, фактически шла группировка несгибаемых революционеров, с одной стороны, и элементов все больше и больше раз'едавшихся оппортунизмом и приспособленчеством, с другой. Когда разразилась революция 1917 года, большевистская партия представляла собой сильную централизованную организацию, впитавшую в себя все лучшие элементы передовых рабочих и революционной интеллигенции и, в полном соответствии со всей международной обстановкой и с классовыми отношениями в России, определившую—после небольшой внутренней борьбы—свою тактику в сторону социалистической диктатуры рабочего класса. Меньшевистская же фракция со-

зрела к этому времени как раз для того, чтобы, как сказано выше, выполнять обязанности буржуазной демократии.

Переиздавая в настоящее время свою работу, автор хочет не только раз'яснить те принципиальные теоретические основания, которые позволили ему и другим товарищам, оставшимся в течении ряда лет вне большевистской партии, связать свою судьбу с ее судьбой, с начала 1917 г. (такое личное об'яснение было бы недостаточным мотивом для переиздания книги), но и напомнить тот социально-исторический анализ движущих сил русской революции, исходя из которого можно и должно было задачу русской революции видеть в завоевании политической власти рабочим классом задолго до того, как диктатура пролетариата стала совершившимся фактом. То обстоятельство, что мы сейчас имеем возможность переиздать без изменения работу, написанную в 1906 г., а в основных своих чертах формулированную уже в 1904 г., является достаточно убедительным доказательством того, что марксистская теория—не с меньшевистскими заместителями буржуазной демократии, а с той партией, которая сейчас на деле проводит диктатуру рабочего класса.

Последней инстанцией для теории остается опыт. Неопровержимым доказательством того, что марксистская теория применяется нами правильно, является тот факт, что события, в которых мы теперь участвуем и самые методы этого участия, были предвидены в основных своих чертах полтора десятилетия тому назад.

В приложении мы перепечатываем статью «Борьба за власть», появившуюся в парижской газете «Наше Слово» 17 октября 1915 года. Статья имеет полемическую точку отправления: она исходит из критики программного «Письма» лидеров меньшевизма «к товарищам в России» и приходит к выводу, что за десятилетие после революции 1905 г. развитие классовых отношений еще больше подорвало почву под меньшевистскими надеждами на буржуазную демократию и тем самым еще более, очевидно, связало судьбу русской революции с вопросом о диктатуре рабочего класса... Пред лицом всей предшествовавшей многолетней идейной борьбы — какой нужно иметь медный лоб, чтобы говорить об «авантюризме» октябрьской революции!

Говоря об отношении к революции меньшевиков, нельзя не остановиться на меньшевистском перерождении Каутского, который в «теории» Мартова—Дана—Церетели

находит ныне выражение для своего теоретического и политического упадка. От Каутского мы слышали после октября 1917 г., что хотя завоевание рабочим классом политической власти и является исторической задачей социал-демократической партии, но, так как русская коммунистическая партия пришла к власти не через ту дверь и не в то время, когда ей полагалось по расписанию Каутского, то советскую республику нужно отдать на исправление Керенскому, Церетели и Чернову. Педантски-реакционная критика Каутского должна казаться тем более неожиданной тем товарищам, которые сознательно пережили период первой русской революции и читали статьи Каутского 1905—6 годов. Тогда Каутский, правда, не без благотворного влияния Розы Люксембург) вполне понимал и признавал, что русская революция не может завершиться буржуазной демократической республикой, а в силу достигнутого уровня классовой борьбы внутри страны и всего международного состояния капитализма должна будет придти к диктатуре рабочего класса. Каутский прямо писал тогда о рабочем правительстве с социал-демократическим большинством. Ему и в голову не приходило ставить реальный ход классовой борьбы в зависимость от преходящих и поверхностных комбинаций политической демократии. Каутский тогда понимал, что революция начнет впервые пробуждать многомиллионные крестьянские и мещанские массы, и при том не сразу, а постепенно, слой за слоем, так что в тот момент, когда борьба между пролетариатом и капиталистической буржуазией дойдет до решающего момента, широкие крестьянские массы будут находиться еще на весьма примитивном уровне политического развития и будут отдавать свои голоса промежуточным политическим партиям, отражающим только отсталость и предрассудки крестьянства. Каутский понимал тогда, что пролетариат, пришедший логикой революции к завоеванию власти, не может по произволу отложить этот акт на неопределенное время, ибо этим самоотречением он очистил бы только поле для контр-революции. Каутский понимал тогда, что, взяв в руки революционную власть, пролетариат не будет ставить судьбу революции в зависимость от временного настроения наименее сознательных, еще не пробужденных масс в данный момент, а наоборот, превратит всю государственную власть, сосредоточенную в его руках, в могущественный аппарат просвеще-

вия и организации самых отсталых, самых темных крестьянских масс. Каутский понимал, что называть русскую революцию буржуазной и этим ограничивать ее задачи,—значит ничего не понимать в том, что происходит на белом свете. Он совершенно правильно признавал—вместе с революционными марксистами России и Польши, что в случае, если русский пролетариат достигнет власти раньше европейского, он должен будет использовать свое положение правящего класса не для спешной сдачи своих позиций буржуазии, а для могущественного содействия пролетарской революции в Европе и во всем мире. Все эти мировые перспективы, проникнутые духом марксистского учения, тогда не ставились ни Каутским, ни нами, ни в какую зависимость от того, как и за кого крестьянство проголосует в ноябре и декабре 1917 года при выборах, в так называемое, Учредительное Собрание.

Теперь, когда перспективы, намеченные 15 лет тому назад, стали действительностью, Каутский отказывает русской революции в метрическом свидетельстве на том основании, что она не прописана в политическом участке буржуазной демократии. Поразительный факт! Невероятное принижение марксизма! Можно с полным правом сказать, что падение Второго Интернационала нашло в этом филистерском отношении виднейшего из его теоретиков к русской революции еще более ужасающее выражение, чем в голосовании 4-го августа за военный кредит.

В течение ряда десятилетий Каутский развивал и отстаивал идеи социальной революции. Теперь, когда она наступила, Каутский в ужасе отступает перед ней. Он открещивается от советской власти в России и враждебно противостоит могущественному движению коммунистического пролетариата Германии. Каутский до последней степени походит на жалкого школьного учителя, который из года в год в четырех стенах душной, школьной комнаты повторял своим ученикам описание весны, а затем, когда на склоне своей педагогической деятельности попал весной на лоно природы, не узнал весны, пришел в неистовство (насколько неистовство свойственно школьному учителю) и стал доказывать, что весна есть не весна, а просто великий беспорядок в природе, ибо она происходит-де противно законам естествознания. Как хорошо, что рабочие не верят даже самым авторитетным педантам, а верят голосу весны!

Мы, ученики Маркса, остаемся вместе с немецкими рабочими при том убеждении, что весна революции совершается вполне по законам социальной природы и в то же время по законам теории Маркса, ибо марксизм не есть возвышающаяся над историей школьная указка, но социальный анализ путей и методов в действительности совершающегося исторического процесса.

* * *

Я сохранил текст обеих печатаемых ниже работ — 1906 и 1915 годов—без всякого изменения. Первоначально я предполагал снабдить текст примечаниями, которые приблизили бы изложение к настоящему моменту. Но при просмотре текста пришлось отказаться от этого плана. Если входить в детали, нужно было бы примечаниями удвоить размеры книги; для этого у меня сейчас не хватило бы времени, да и вряд ли такая «двухэтажная» книга была бы удобна для читателя. А главное, я констатировал, что ход мыслей в основных своих разветвлениях, весьма близко подходит к условиям нашего времени, и читатель, который даст себе труд более внимательно ознакомиться с этой книгой, сам без труда дополнит ее изложение необходимыми данными из опыта нынешней революции.

Л. Троцкий.

12 марта 1919 г.
Кремль.

Итоги и перспективы.

Революция в России явилась неожиданностью для всех, кроме социал-демократии. Марксизм давно предсказал неизбежность русской революции, которая должна была разразиться в результате столкновения сил капиталистического развития с силами косного абсолютизма. Марксизм заранее оценил социальное содержание грядущей революции. Называя ее буржуазной, он указывал тем, что непосредственные об'ективные задачи революции состоят в создании «нормальных» условий для развития буржуазного общества в его целом.

Марксизм оказался прав,—и этого уже не приходится ни оспаривать, ни доказывать. Перед марксистами стоит задача совершенно иного рода: путем анализа внутренней механики развивающейся революции вскрыть ее «возможности». Было бы грубой ошибкой просто отождествить нашу революцию с событиями 1789—93 или 48 годов. Исторические аналогии, которыми питается и живет либерализм, не могут заменить социального анализа.

Русская революция имеет [illegible] характер, который является [illegible] общественно-исторического развития и который, в свою очередь, раскрывает совершенно новые исторические перспективы.

1. Особенности исторического развития.

Если сравнивать общественное развитие России с развитием европейских стран, взяв у этих последних за скобку то, что составляет их наиболее сходные общие черты и что отличает их историю от истории России, то можно сказать, что основной чертой русского общественного развития является его сравнительная примитивность и медленность.

Мы не станем здесь останавливаться на естественных причинах этой примитивности, но самый факт мы считаем несомненным: русская общественность складывалась на более первобытном и скудном экономическом основании.

Марксизм учит, что в основе социально-исторического движения лежит развитие производительных сил. Сложение экномических корпораций, классов и сословий возможно лишь на известной высоте этого развития. Для сословно-классовой дифференциации, которая определяется развитием разделения труда и созданием более специализированных общественных функций, необходимо, чтобы часть населения, занятая непосредственно материальным производством, создавала добавочный продукт, избыток сверх собственного потребления: только путем отчуждения этого избытка могут возникнуть и сложиться непроизводительные классы. Далее, внутри самих производительных классов мыслимо разделение труда лишь на известной высоте развития земледелия, способной обеспечить продуктами земли—неземледельческое население. Эти основные положения социального развития были точно формулированы еще Адамом Смитом.

Отсюда, само собой, вытекает, что хотя новгородский период нашей истории совпадает с началом средневековой истории Европы, но медленный темп экономического развития, вызывавшийся естественно-историческими условиями (менее благоприятная географическая среда и редкость населения), должен был задержать процесс классового формирования и придать ему более примитивный характер.

Трудно рассуждать, как сложилась бы история русской общественности, если бы она протекла изолированно, под влиянием одних внутренних тенденций. Достаточно, что этого не было. Русская общественность, слагавшаяся на известной внутренней экономической основе, неизменно находилась под влиянием и даже давлением внешней социально-исторической среды.

В процессе столкновений этой слагавшейся общественно-государственной организации с другими, соседними, решительную роль играла, с одной стороны, примитивность экономических отношений, с другой—относительная их высота.

Русское государство, складывавшееся на первобытной экономической базе, вступало в отношения и приходило в столкновения с государственными организациями, сложив-

шимися на более высоком и устойчивом экономическом основании. Тут были две возможности: либо русское государство должно было пасть в борьбе с московским государством, либо русское государство должно было, в своем развитии, обгонять развитие экономических отношений и поглощать гораздо больше жизненных соков, чем это могло бы иметь место при изолированном развитии. Для первого исхода русское хозяйство оказалось недостаточно примитивным. Государство не разбилось, а стало расти при страшном напряжении народно-хозяйственных сил.

Суть, таким образом, не в том, что Россия была окружена врагами со всех сторон. Одного этого недостаточно. В сущности, это относится и ко всякому другому из европейских государств, кроме, разве, Англии. Но в своей взаимной борьбе за существование эти государства опирались на приблизительно однородный экономический базис и потому развитие их государственности не испытывало таких могучих внешних давлений.

Борьба с крымскими и ногайскими татарами вызывала большое напряжение сил. Но, разумеется, не большее, чем вековая борьба Франции с Англией. Не татары вынудили Русь ввести огнестрельное оружие и создать постоянные стрелецкие полки; не татары заставили впоследствии создать рейтарскую конницу и солдатскую пехоту. Тут было давление Литвы, Польши и Швеции.

В результате этого давления Западной Европы, государство поглощало непропорционально большую долю прибавочного продукта, то-есть жило за счет формировавшихся привиллегированных классов, и тем задерживало их и без того медленное развитие. Но мало этого. Государство набрасывалось на «необходимый продукт» земледельца, вырывало у него источники его существования, сгоняло его этим с места, которого он не успел обогреть—и тем задерживало рост населения и тормозило развитие производительных сил. Таким образом, поскольку государство поглощало непропорционально большую долю прибавочного продукта, оно задерживало и без того медленную сословную дифференциацию; поскольку же оно отнимало значительную долю необходимого продукта, оно разрушало даже и те примитивные производственные основы, на какие опиралось.

Но для того, чтобы существовать, функционировать и, значит, прежде всего, отчуждать необходимую часть обще-

ственного продукта, государство нуждалось в сословно-иерархической организации. Вот почему, подкапываясь под экономические основания ее роста, оно стремится в то же время форсировать ее развитие мерами государственного порядка,—и, как и всякое другое государство, стремится отвести этот процесс сословного формирования в свою сторону. Историк русской культуры, г. Милюков, видит в этом прямую противоположность с историей Запада. Противоположности здесь нет.

Средневековая сословная монархия, развившаяся в бюрократический абсолютизм, представляла собой государственную форму, закреплявшую определенные социальные интересы и отношения. Но у этой государственной формы, самой по себе, раз она возникла и существовала, были свои собственные интересы (династические, придворные, бюрократические), которые приходили в конфликты с интересами сословий, не только низших, но и высших. Господствующие сословия, которые составляли социально-необходимое «средостение» между народной массой и государственной организацией, давили на эту последнюю и делали свои интересы содержанием ее государственной практики. Но в то же время государственная власть, как самостоятельная сила, рассматривала даже интересы высших сословий под своим углом зрения, и, развивая сопротивление их притязаниям, стремилась подчинить их себе. Действительная история отношений государства и сословий шла по равнодействующей, определявшейся соотношением сил.

Однородный, в основе своей, процесс происходил и в Руси.

Государство стремилось использовать развивающиеся экономические группы подчинить их своим специализированным финансовым и военным интересам. Возникающие экономически-господствующие группы стремились использовать государство для закрепления своих преимуществ в виде сословных привилегий. В этой игре социальных сил равнодействующая гораздо дальше отклонялась в сторону государственной власти, чем это имело место в западноевропейской истории. Тот обмен услуг за счет трудящегося народа—между государством и верхними общественными группами,—который выражается в распределении прав и обязанностей, тягот и привилегий, складывался у нас к меньшей выгоде дворянства и духовенства, чем в средневековых

сословных государствах Западной Европы. Это несомненно. И, тем не менее, страшным преувеличением, нарушением всяких перспектив будет сказать, что в то время, как на Западе сословия создавали государство, у нас государственная власть в своих интересах создавала сословия (Милюков).

Сословия не могут быть созданы государственным юридическим путем. Прежде, чем та или другая общественная группа сможет при помощи государственной власти опериться в привилегированное сословие, она должна сложиться экономически во всех своих социальных преимуществах.

Сословий нельзя фабриковать, по заранее созданной табели о рангах, или по уставу L'égion d'honneur. Государственная власть может лишь со всеми своими орудиями придти на помощь тому элементарному экономическому процессу, который выдвигает верхние экономические формации. Русское государство, как мы указали, поглощало относительно очень много сил и тем задерживало процесс социальной кристаллизации, но оно само же нуждалось в ней. Естественно, если оно, под влиянием и давлением более дифференцированной западной среды, давлением, передававшимся через военно-государственную организацию, стремилось, в свою очередь, форсировать социальную дифференциацию на примитивной и экономической основе. Далее. Так как самая потребность в форсировании вызывалась слабостью социально-экономических образований, то, естественно, если государство, в своих попечительных усилиях, стремилось использовать перевес своей силы, чтобы самое развитие верхних классов направить по своему усмотрению. Но по пути к достижению больших успехов в этом направлении, государство наталкивалось в первую очередь на свою собственную слабость, на примитивный характер своей собственной организации, который, как мы уже знаем, определялся примитивностью социальной структуры.

Таким образом русское государство, создавшееся на основе русского хозяйства, толкалось вперед дружеским и особенно враждебным давлением соседних государственных организаций, выросших на более высокой экономической основе. Государство, с известного момента — особенно с конца XVII века—изо всех сил старается ускорить естественное экономическое развитие. Новые отрасли ремесла, мануфактуры, фабрики, крупное производство, капитал предста-

вляются, с известной точки зрения, как бы искусственной прививкой к естественному хозяйственному стволу. Капитализм кажется детищем государства.

С этой точки зрения можно, однако, сказать, что вся русская наука есть искусственный продукт государственных усилий, искусственная прививка к естественному стволу национального невежества.

Русская мысль, как и русская экономика, развивались под непосредственным давлением более высокой мысли и более развитой экономики Запада. Так как при натурально-хозяйственном характере экономики, значит, при слабом развитии внешней торговли, отношения с другими странами носили преимущественно государственный характер, то влияние этих стран, прежде чем принять форму непосредственного хозяйственного соперничества, выражалось в форме обостренной борьбы за государственное существование. Западная экономика влияла на русскую через посредство государства. Чтобы существовать в среде враждебных вооруженных государств, Россия вынуждена была ввести фабрики, навигационные школы, учебники фортификации и пр. Но если б общее направление внутреннего хозяйства огромной страны не шло в том же направлении, если бы развитие этого хозяйства не рождало потребности в прикладных и обобщающих знаниях, то все усилия государства погибли бы бесплодно: национальная экономика, естественно развивавшаяся от натурального хозяйства к денежно-товарному, откликалась только на те мероприятия правительства, которые отвечали этому развитию, и лишь в той мере, в какой они согласовались с ним. История русской фабрики, история русской монетной системы, история государственного кредита—все это как нельзя лучше свидетельствует в пользу высказанного взгляда.

«Большинство видов промышленности (металлургической, сахарной, нефтяной, винокуренной, даже касающейся волокнистых веществ),—пишет профессор Менделеев,—зачалось прямо под влиянием правительственных мероприятий, а иногда и больших правительственных субсидий, но особенно потому, что правительство совершенно сознательно, кажется во все времена, держалось покровительственной политики, а в царствование императора Александра III выставило ее на своем знамени с полной откровенностью... Высшее правительство, держась с полным сознанием начал

протекционизма в приложении к России, оказывалось впереди наших образованных классов, взятых в целом» *).

Ученый панегирист промышленного протекционизма забывает прибавить, что правительственная политика диктовалась не заботой о развитии производительных сил, но чисто фискальными и отчасти военно-техническими соображениями. Поэтому политика протекционизма нередко противоречила не только основным интересам промышленного развития, но и приватным интересам отдельных предпринимательских групп. Так, хлопчато-бумажные фабрикаты прямо указывали на то, что «высокая пошлина на хлопок сохраняется ныне в тарифе не ради поощрения хлопководства, а исключительно в интересах фискальных». Как в «создании» сословий правительство прежде всего преследовало задачи государственного тягла, так в «насаждении» индустрии оно главную заботу свою направляло на нужды государственного фиска. Но, несомненно все же, что в деле пересадки на русскую почву фабрично-заводского производства самодержавие сыграло немалую роль.

К тому времени, когда развивавшееся буржуазное общество почувствовало потребность в политических учреждениях Запада, самодержавие оказалось вооруженным всем материальным могуществом европейских государств. Оно опиралось на централизованно-бюрократический аппарат, который был совершенно не годен для регулирования новых отношений, но способен был развить большую энергию в деле систематических репрессий. Огромные размеры государства были побеждены телеграфом, который придает действиям администрации уверенность и относительное единообразие и быстроту (в деле репрессий), а железные дороги позволяют перебрасывать в короткое время военную силу из конца в конец страны. До-революционные правительства Европы почти не знали ни железных дорог, ни телеграфа. Армия в распоряжении абсолютизма колоссальна — и если она оказалась никуда негодной в серьезных испытаниях русско-японской войны, то она все же была достаточно хороша для внутреннего господства. Ничего подобного нынешней русской армии не знало не только правительство старой Франции, но и правительство 48 года.

Эксплоатируя, при помощи своего фискально-военного

*) Д. Менделеев: „К познанию России" С.Пб. 1906 г. стр. 84.

БИБЛИОТЕКА
Ин-та марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС

106499

аппарата, до крайней степени страну, правительство довело свой годовой бюджет до колоссальной цифры в 2 миллиарда рублей. Опираясь на свою армию и на свой бюджет, самодержавное правительство сделало европейскую биржу своим казначейством, а русского плательщика—безнадежным данником европейской биржи.

Таким образом, в 80 и 90 гг. XIX века русское правительство стояло перед лицом мира, как колоссальная военно-бюрократическая и фискально-биржевая организация несокрушимой силы.

Финансовое и военное могущество абсолютизма подавляло и ослепляло не только европейскую буржуазию, но и русский либерализм, отнимал у него всякую веру в возможность тягаться с абсолютизмом в деле открытого соразмерения сил. Военно-финансовое могущество абсолютизма исключало, казалось, какие бы то ни было возможности русской революции.

На самом же деле оказалось как раз обратное.

Чем централизованнее государство и чем независимее от общества, тем скорее оно превращается в самодавлеющую организацию, стоящую над обществом. Чем выше военно-финансовые силы такой организации, тем длительнее и успешнее может быть ее борьба за существование. Централизованное государство с двухмиллиардным бюджетом, с восьмимиллиардным долгом и с миллионной армией под ружьем, могло продержаться еще долго после того, как перестало удовлетворять элементарнейшие потребности общественного развития, — не только потребность внутреннего управления, но даже потребность в военной безопасности, для охранения которой оно первоначально сложилось.

Чем дальше затягивалось такое положение, тем больше становилось противоречие между нуждами хозяйственно-культурного развития и политикой правительства, развившей свою могучую «миллиардную» инерцию. После того, как эпоха великих заплат была оставлена позади, не только не устранив этого противоречия, но впервые вскрыв его, самостоятельный поворот правительства на путь парламентаризма становился и об'ективно все труднее и психологически все недоступнее. Единственный выход из этого противоречия, который намечался для общества, состоял в том, чтобы в железном котле абсолютизма накопить достаточно революционных паров, которые могли бы разнести котел.

Таким образом, административное, военное и финансовое могущество абсолютизма, дававшее ему возможность существовать наперекор общественному развитию, не только не исключало возможности революции, как думал либерализм, но, наоборот, делало революцию единственным выходом,—при том за этой революцией был обеспечен тем более радикальный характер, чем более могущество абсолютизма углубляло пропасть между ним и нацией. Русский марксизм поистине может гордиться тем, что он один уяснил направление развития и предсказал его общие формы *) в то время, как либерализм питался самым утопическим «практицизмом», а революционное народничество жило фантасмогориями и верой в чудеса.

Все предшествующее социальное развитие делало революцию неизбежной. Каковы же были силы этой революции?

2. Город и капитал.

Городская Россия—это продукт новейшей истории, точнее—последних десятилетий. К концу царствования Петра I, в первой четверти XVII в., городское население составляло с небольшим 328 тысяч, около 3% населения страны. К концу того же столетия оно составляло 1.301 тысячу, около 4,1% всего населения. В 1812 г. городское население возросло до 1.653 тысячи, что составляло 4,4%. В середине XIX ст. города все еще насчитывают только 3.482 т.,—7,8%. Наконец, по последней переписи (1897 г.) количество городского населения определено в 16.289 тысяч, что дает около 13% всего населения **).

Если иметь в виду город, как социально-экономическую формацию, а не как простую административную единицу, то необходимо признать, что приведенные данные не дают дей-

---

*) Даже такой реакционный бюрократ, как проф. Менделеев не может не признать этого. Говоря о развитии индустрии, он замечает: Социалисты тут кое что увидели и даже отчасти поняли, но обрядив ее в латинщиной (!), рекомендуя прибегать к насилиям, потворствуя животным инстинктам черни, стремясь к переворотам и власти. (К познанию России стр. 120.)

**) Эти цифры мы заимствовали из «Очерков» г. Милюкова. Городское население всей России, включая сюда Сибирь и Царство Польское по переписи 1897 г. равняется 17.122 тыс. или 13¼%. (Д. Менделеев. Там же; таблица на стр. 90).

ствительной картины развития городов: русская государственная практика знает массовые пожалования в города, как и массовые разжалования из этого звания с целями очень далекими от научных соображений. Тем не менее эти цифры достаточно ясно свидетельствуют как о ничтожестве городов дореформенной России, так и о лихорадочно быстром росте их за последнее десятилетие. По вычислениям г. Михайловского, прирост городского населения за время с 1885 по 1897 г. составил 33,8%, вдвое слишком выше общего прироста жителей страны (15,25%) и почти втрое выше прироста сельского населения (12,7%). Если присоединить сюда фабрично-заводские села и местечки, то быстрый рост городского (не земледельческого) населения скажется еще ярче.

Но современные русские города отличаются от старых не только численностью своего населения, но и своим социальным типом: они—средоточие торгово-промышленной жизни. Большинство наших старых городов не играло почти никакой хозяйственной роли: они были военно-административными пунктами или полевыми крепостями, население их было служилое, содержалось из государственной казны, и город составлял, в общем, административно-военно-податной центр.

Если не-служилое население селилось в городской черте или в слободах, ища прикрытия от врагов, то это нисколько не мешало ему попрежнему заниматься земледелием. Даже Москва, самый большой город старой России, была, по определению г. Милюкова, просто «царской усадьбой, значительная часть населения которой так или иначе состояло в связи с дворцом, в качестве свиты, гвардии и дворни. Из 16 тысяч слишком дворов, насчитывающихся в Москве по переписи 1701 г., на долю посадских и ремесленников не приходилось и 7 т. (44%), и те состоят из населения государственных слобод, работающих на дворец. Остальные 9 тыс. принадлежат к духовенству (1½ тыс.) и правящему сословию». Таким образом, русский город, подобно городам азиатских деспотий, и в отличие от ремесленно-торговых городов средневековья, играл чисто п о т р е б и т е л ь н у ю роль. В то время, как современный ему западный город более или менее победоносно отстаивал тот принцип, что ремесленники не имеют права жить в деревнях, русский город, отнюдь не задавался

такими целями. Где же была обрабатывающая промышленность, ремесло?

В деревне, при земледелии, низкий хзяйственный уровень при напряженном хищничестве государства не давал места ни накоплению, ни общественному разделению труда. Более короткое лето, по сравнению с Западом, оставляло более долгий зимний досуг. Все это повело к тому, что обрабатывающая промышленность не отделилась от земледелия, не сконцентрировалась в городах, а осталась в деревне, как подсобное занятие при земледелии. Когда, во второй половине XIX века, началось у нас широкое развитие капиталистической индустрии, оно застало не городское ремесло, а, главным образом, деревенское кустарничество. «На полтора миллиона, самое большее, фабричных рабочих,—пишет г. Милюков,—в России существует до сих пор никак не менее четырех миллионов крестьян, занимающихся обрабатывающей промышленностью у себя в деревне и в то же время не бросающих земледелие. Это—тот самый класс, из которого выросла... европейская фабрика, и который нисколько не участвовал... в создании русской».

Разумеется, дальнейший рост населения и его производительности создавал базис для общественного разделения труда, и, значит для городского ремесла, но силою экономического давления передовых стран этим базисом завладела крупная капиталистическая промышленность, так что для расцвета городского ремесла не оказалось времени.

Четыре миллиона кустарей, это те самые элементы, которые в Европе образовывали ядро городского населения, входили в цех в качестве мастеров и подмастерьев, а впоследствии все больше оставались за пределами цехов. Именно ремесленный слой составлял преобладающее население самых революционных кварталов Парижа эпохи Великой Революции. Уже один этот факт—ничтожество городского ремесла—имеет для нашей революции неизмеримые последствия *).

Экономическая сущность современного города состоит в том, что он обрабатывает сырье, доставляемое деревней;

*) Т. Парвус очень проницательно указал на это обстоятельство, как на причину особых судеб русской революции в то время, когда не критическое приравнивание этой последней к революции 1789 г. стало общим местом.

условия транспорта имеют для него поэтому решающую роль. Только проведение железных дорог могло настолько расширить сферу питающих город областей, что создало возможность скопления стотысячных масс; необходимость в таких скоплениях была вызвана крупной фабричной промышленностью. Ядром населения в современном городе, по крайней мере, в городе, имеющем хозяйственно-политическое значение, является резко дифференцировавшийся класс наемного труда. Именно этому классу, еще в сущности неизвестному Великой Французской Революции, суждено в нашей сыграть решающую роль.

Фабрично-индустриальный строй не только выдвигает пролетариат на передние позиции, но и вырывает почву из под ног буржуазной демократии. Ее опорой в эпоху прежних революций было городское мещанство: ремесленники, мелкие лавочники и др.

Другой причиной непропорционально-большой политической роли русского пролетариата является тот факт, что русский капитал в значительной своей доле — иммигрант. Этот факт имел, по мнению Каутского, своим последствием то, что росту численности, силы и влияния пролетариата не соответствовал рост буржуазного либерализма.

Капитализм, как уже сказано выше, развивался у нас не из ремесла,—он завоевывал Россию имея за собой хозяйственную культуру всей Европы, имея перед собою, в качестве ближайшего конкурента, беспомощного сельского кустаря или жалкого городского ремесленника, а в качестве резервуара рабочей силы—полунищего крестьянина-земледельца. Абсолютизм с разных сторон помогал капиталистическому закабалению страны.

Прежде всего, он превратил русского крестьянина в данника мировой биржи. Отсутствие капиталов внутри страны, при постоянной потребности в них государства, создавало почву для ростовщических условий при внешних займах. Амстердамские, лондонские, берлинские и парижские банкиры, начиная с царствования Екатерины II и кончая министерством Витте, Дурново, систематически работали над превращением самодержавия в колоссальную биржевую спекуляцию. Значительная часть, так называемых, внутренних займов, т. е. реализованных при посредстве внутренних кредитных учреждений, ничем не отличалась от внешних, так как находила свое действительное помещение у заграничных ка-

питалистов. Пролетаризуя и пауперизуя крестьянина тяжестью обложения, абсолютизм превращал миллионы европейской биржи в солдат, в броненосцы, в одиночные тюрьмы, в железные дороги. Большая часть этих расходов с хозяйственной точки зрения является совершенно непроизводительной. Огромная доля национального продукта уходила в виде процента за границу, обогащая и усиливая финансовую аристократию Европы. Европейская финансовая буржуазия, политическое влияние которой в парламентарных странах непрерывно растет в течение последних десятилетий, отодвигая назад влияние торгово-промышленных капиталистов, правда, превратило царское правительство в своего вассала; но она не могла стать, не хотела стать и не стала составной частью буржуазной оппозиции внутри России. В своих симпатиях и антипатиях она руководствовалась тем началом, которое голландские банкиры Гоппе и К° формулировали еще в условиях павловского займа 1798 г.: платеж процентов должен быть производим, несмотря ни на какие политические обстоятельства». Европейская биржа была даже прямо и непосредственно заинтересована в сохранении абсолютизма: никакое другое национальное правительство не могло ей обеспечить таких ростовщических процентов. Но государственные займы не были единственным путем иммиграции европейских капиталов в Россию. Те же самые деньги, влитавшие в себя добрую долю русского государственного бюджета, возвращались на территорию России, как торгово-промышленный капитал, привлекаемый ее нетронутыми естественными богатствами и, главным образом, неорганизованной и непривыкшей к сопротивлению рабочей силой. Последний период нашего промышленного под'ема 1893—1899 гг. был вместе с тем периодом усиленной иммиграции европейского капитала. Таким образом, капитал, оставаясь попрежнему в значительной своей части европейским, реализуя свою политическую мощь во французском или бельгийском парламенте, мобилизовал на русской почве национальный рабочий класс.

Покоряя экономически отсталую страну, европейский капитал перебрасывал главные отрасли ее производства и сообщения через целый ряд промежуточных технических и экономических ступеней, которые ему пришлось пройти у себя на родине. Но чем меньше препятствий он встречал на

пути своего **экономического** господства, тем ничтожнее оказалась его **политическая** роль.

Европейская буржуазия развилась из третьего сословия средних веков. Она подняла знамя протеста против хищничества и насилия двух первых сословий во имя интересов народа, который она хотела сама эксплоатировать. Средневековая сословная монархия на пути превращения в бюрократический абсолютизм опиралась на население городов в своей борьбе против притязаний духовенства и дворянства. Буржуазия пользовалась этим для своего государственного возвышения. Таким образом, бюрократический абсолютизм и капиталистический класс развивались одновременно, и, когда они враждебно столкнулись друг с другом в 1789 г., то оказалось, что за буржуазией стоит вся нация.

Русский абсолютизм развился под непосредственным давлением западных государств. Он усвоил их методы управления и господства гораздо раньше, чем на почве национального хозяйства успела возникнуть капиталистическая буржуазия. Абсолютизм уже располагал огромной постоянной армией, централизованным бюрократическим и фискальным аппаратом, входил в неоплатные долги европейским банкирам, в то время, когда русские города играли еще совершенно ничтожную экономическую роль.

Капитал вторгся с Запада при непосредственном содействии абсолютизма и, в течение короткого времени, превратил целый ряд старых, архаических городов в средоточия индустрии и торговли, и даже создал в короткое время огромные торгово-промышленные города на совершенно чистом месте. Капитал этот нередко сразу являлся в лице огромных безличных акционерных предприятий. За десятилетия промышленного под'ема 1893—1902 основной капитал акционерных предприятий возрос на 2 миллиарда, между тем, как за период 1854—1892 он увеличился всего на 900 миллионов. Пролетариат сразу оказался сосредоточенным в огромных массах, а между ним и абсолютизмом стояла немногочисленная капиталистическая буржуазия, оторванная от «народа», наполовину чужестранная, без исторических традиций, одухотворенная одной жаждой наживы.

3. 1789—1848—1905.

История не повторяется. Сколько бы ни сравнивали русскую революцию с Великой Французской, первая от этого не превратится в повторение второй. Девятнадцатое столетие прошло не даром.

Уже 48 год представляет громадное отличие от 1789. По сравнению с Великой революцией прусская или австрийская поражает своим ничтожным размахом. Она пришла, с одной стороны, слишком рано, с другой, слишком поздно. То гигантское напряжение сил, которое нужно буржуазному обществу, чтобы радикально расквитаться с господами прошлого, может быть достигнуто либо мощным единодушием всей нации, восставшей против феодального деспотизма, либо могучим развитием классовой борьбы внутри этой освобождающейся нации. В первом случае, который имел место в 1789—1793 гг., национальная энергия, сгущенная ужасающим сопротивлением старого порядка, расходуется целиком на борьбу с реакцией. Во втором случае, который не имел еще места в истории и рассматривается нами, как возможность, действенная энергия, необходимая для победы над черными силами истории, вырабатывается в буржуазной нации посредством «междуусобной» классовой борьбы. Суровые внутренние трения, поглощающие массу энергии и лишающие буржуазию возможности играть главную роль, толкают вперед ее антагониста, дают ему в месяц опыт десятилетий, ставят его на первое место и вручают ему туго натянутые бразды. Решительный, не знающий сомнений, он придает событиям могучий размах.

Либо нация, собравшаяся в одно целое, как лев перед прыжком, либо нация, в процессе борьбы окончательно разделившаяся, чтобы высвободить лучшую долю самой себя для выполнения задачи, которая не под силу целому. Таковы два полярные типа, в чистом виде возможные, разумеется, лишь в логическом противопоставлении.

Среднее положение и здесь, как во многих случаях, хуже всего. Это среднее положение и создало 48 год.

В героический период французской истории, мы видим буржуазию просвещенную, деятельную, еще не обнаруживавшую пред собой противоречий собственного положения, на

которую история возлагает руководство борьбой за новый порядок вещей не только против отживших учреждений Франции, но и против реакционных сил всей Европы. Буржуазия последовательно, в лице всех своих фракций, сознает себя вождем нации, вовлекает массы в борьбу, дает им лозунги, диктует и боевую тактику. Демократия связывает нацию политической идеологией. Народ—мещане, крестьяне и рабочие—посылают своими депутатами буржуа, и те наказы, которые дают им общины, написаны языком буржуазии, приходящей к сознанию своей мессианистической роли. Во время самой революции хотя и вскрываются классовые антагонизмы, но властная инерция революционной борьбы последовательно сбрасывает с политического пути наиболее косные элементы буржуазии. Каждый слой открывается не раньше, как передаст свою энергию следующим за ним слоям. Нация, как целое, продолжает при этом бороться за свои цели все более и более острыми и решительными средствами. Когда от национального ядра, пришедшего в движение, отрываются верхи имущей буржуазии и вступают в союз с Людовиком XVI, демократические требования нации, направленные уже п р о т и в этой буржуазии, приводят ко всеобщему избирательному праву и республике, как логически неизбежным формам демократии.

Великая французская революция есть, действительно, революция национальная. Более того. Здесь в национальных рамках находит свое классическое выражение мировая борьба буржуазного строя за господство, власть, безраздельное торжество.

Я к о б и н и з м—это теперь бранное слово в устах всех либеральных мудрецов. Буржуазная ненависть к революции, к массе, к силе, к величию той истории, которая делается на улицах, воплотилась в один крик негодования и страха: я к о б и н и з м. Мы, мировая армия коммунизма, давно уже свели исторические счеты с якобинством. Все нынешнее международное пролетарское движение сложилось и окрепло в борьбе с преданиями якобинизма. Мы подвергли его теоретической критике, вскрыли его историческую ограниченность, его общественную противоречивость, его утопизм, разоблачили его фразеологию, мы порвали с его традициями, которые на протяжении десятилетий казались священным наследием революции.

Но против нападок, клевет и бессмысленных надругательств бескровного флегматического либерализма мы возьмем якобинизм под свою защиту. Буржуазия постыдно предала все традиции своей исторической молодости, и ее нынешние наемники бесчинствуют над могилами ее предков и кощунствуют над прахом ее идеалов. Пролетариат взял на себя охрану чести революционного прошлого самой буржуазии. Пролетариат, так радикально порвавший в своей практике с ревлюционными традициями буржуазии, охраняет их, как наследие великих страстей, героизма и инициативы, и его сердце отзывчиво бьется речам и делам якобинского конвента.

Что придало обаяние либерализму, как не традиции Великой французской революции... В какой другой момент буржуазная демократия поднималась так высоко, зажигала такое великое пламя в сердце народа, как якобинская, санкюлотская, террористическая, робеспьеровская демократия 1793 года?

Кто как не якобинизм дал и дает возможность французскому буржуазному радикализму разных оттенков держать под своим обаянием огромную часть народа, даже пролетариата, по сей день, в то время, как буржуазный радикализм Германии и Австрии написал свою короткую историю деяний ничтожества и позора?

Что, как не обаяние якобинизма, его отвлеченной политической идеологии, его культа священной республики, его торжественной декламации до сих пор еще питает французских радикалов и радикал-социалистов—Клемансо, Мильерана, Бриана и Буржуа—всех тех политических деятелей, которые умеют охранять основы не хуже, чем тупые милостью божьей юнкера Вильгельма II, и которым так безнадежно завидует буржуазная демократия других стран, осыпая в то же время клеветами первоисточник их политических преимуществ—героический якобинизм!

Уже после того, как многие надежды были разрушены, они остались в сознании народа, как предание; еще долго пролетариат языком прошлого говорил о своем будущем. В 40 году—почти через полстолетия после правительства Горы, за 8 лет до июньских дней 48 года—Гейне посетил несколько мастерских в предместье Сан-Марсо и увидел, что читали рабочие, «самая здоровая часть низшего класса». «Я нашел там», сообщал Гейне в немецкую газету, «несколько но-

вых речей старика Робеспьера, а также памфлетов Марата, изданных выпусками по 2 су», «Историю революции» Кабе, ядовитые пасквили Кармена, сочинение Буонаротти, «Учение и заговор Бабефа»—все произведения, пахнущие кровью... Как один из плодов этого семени», предсказывает поэт, «грозит на почве Франции, рано или поздно, вырости республика».

В 1848 г. буржуазия уже неспособна была сыграть подобную роль. Она не хотела и не смела брать на себя ответственность за революционную ликвидацию общественного строя, стоявшего помехой ее господству. Мы уже знаем, п о ч е м у. Ее задача состояла в том,—и она отдавала себе в этом ясный отчет,—чтобы ввести в старый строй необходимые гарантии—не своего политического господства, но лишь совладения с силами прошлого. Она была скаредно мудра опытом французской буржуазий, развращена ее предательствами, напугана ее неудачами. Она не только не вела массы на штурм старого порядка, но она упиралась спиною в старый порядок, чтобы дать отпор массе, толкавшей ее вперед.

Французская буржуазия сумела сделать свою революцию великой. Ее сознание было сознанием общества, и ничто не могло воплотиться в учреждения, не пройдя предварительно чрез ее сознание, как цель, как задача политического творчества. Она прибегала нередко к театральной позе, чтобы скрыть от самой себя ограниченность своего буржуазного мира,—но она шла вперед.

Немецкая же буржуазия с самого начала не «делала» революции, но отделывалась от нее. Ее сознание восставало против об'ективных условий ее господства. Революция могла быть проведена не ею, но против нее. Демократические учреждения отражались в ее голове не как цель ее борьбы, но как угроза ее благополучия.

В 48 году нужен был класс, способный вести события помимо буржуазии и вопреки ей, готовый не только толкать ее вперед силой своего давления, но и сбросить в решительную минуту с своего пути ее политический труп.

Ни мещанство, ни крестьянство не были на это способны.

М е щ а н с т в о было враждебно не только по отношению ко вчерашнему, но и по отношению к завтрашнему дню. Еще опутанное средневековыми отношениями, но уже неспособное противостоять «свободной» промышленности; еще налагавшее на города свой отпечаток, но уже уступавшее свое

влияние средней и крупной буржуазии; погрязшее в своих предрассудках, оглушенное грохотом событий, эксплоатирующее и эксплоатируемое, жадное и беспомощное в своей жадности—захолустное мещанство не могло руководить мировыми событиями.

Крестьянство в большей еще мере было лишено самостоятельной политической инициативы. Закабаленное в течение столетий, нищее, озлобленное, соединяющее в себе все нити старой и новой эксплоатации, крестьянство представляло в известный момент богатый источник хаотической революционной силы. Но раздробленное, рассеянное, отброшенное от городов, нервных центров политики и культуры, тупое, ограниченное в своем кругозоре околицей, равнодушное ко всему, до чего додумался город, крестьянство не могло иметь руководящего значения. Оно успокоилось, как только с его плеч было сброшена ноша феодальных повинностей, и отплатило городу, который боролся за его права, черной неблагодарностью: освобожденные крестьяне стали фанатиками «порядка».

Интеллигентная демократия, лишенная классовой силы, то плелась вслед за своей старшей сестрой, либеральной буржуазией, в качестве ее политического хвоста, то отделялась от нее в критические моменты, чтоб обнаружить свое бессилие. Она путалась сама в неназревших противоречиях и эту-путаницу несла с собой всюду.

Пролетариат был слишком слаб, лишен организации, опыта и знания. Капиталистическое развитие пошло достаточно далеко, чтобы сделать необходимым уничтожение старых феодальных отношений, но недостаточно далеко, чтобы выдвинуть рабочий класс, продукт новых производственных отношений, как решающую политическую силу. Антагонизм пролетариата с буржуазией, даже в национальных рамках Германии, зашел слишком далеко, чтобы дать возможность буржуазии безбоязненно выступить в роли национального гегемона, но недостаточно далеко, чтобы позволить пролетариату взять на себя такую роль. Внутренние трения революции, правда, подготовляли пролетариат к политической самостоятельности, расходовали безрезультатно силы и вынуждали революцию, после первых успехов, томительно топтаться на месте, чтобы затем, под ударами реакции, двинуться задним ходом.

Австрия дала особенно резкий и трагический образчик

этой незаконченности и недоделанности политических отношений в революционный период.

Венский пролетариат проявил в 48 году удивительный героизм и неисчерпаемую энергию. Он снова и снова шел в огонь, движимый одним лишь темным классовым инстинктом, лишенный общего представления о целях борьбы, переходящий ощупью от лозунга к лозунгу. Руководство пролетариатом удивительным образом перешло к студенчеству, единственной активной демократической группе, пользовавшейся, благодаря своей активности, большим влиянием на массы, а значит, и на события. Студенты способны были, без сомнения, храбро драться на баррикадах и умели честно брататься с рабочими, но они совершенно не могли направлять ход революции, вручившей им «диктатуру» над улицей.

Пролетариат, разрозненный, без политического опыта и самостоятельного руководства, шел за студентами. Во все критические моменты, рабочие неизменно предлагали «господам», которые работали головою, помощь тех, которые «работают руками». Студенты то призывали рабочих, то сами преграждали им путь из предместий. Они подчас запрещали им силою своего политического авторитета, опиравшегося на оружие академического легиона, выступать со своими самостоятельными требованиями. Это была классически ясная форма благожелательной революционной диктатуры над пролетариатом.

В результате этих общественных отношений произошло вот что. Когда 26 мая вся рабочая Вена поднялась на ноги по призыву студентов, чтобы бороться против разоружения студенчества («академического легиона»), когда насеелние столицы, покрывшее весь город баррикадами, обнаружило удивительную мощь и завладело городом, когда за вооруженной Веной стала Австрия, когда монархия, находившаяся в бегах, лишилась значения, когда, под давлением народа, последние войска были выведены из столицы, когда правительственная власть Австрии оказывалась выморочным достоянием, не нашлось политической силы, чтоб овладеть рулем.

Либеральная буржуазия сознательно не хотела воспользоваться властью, добытою столь разбойничьим путем. Она только и мечтала о возвращении императора, удалившегося в Тироль из осиротевшей Вены.

Рабочие были достаточно мужественны, чтобы раз-

быть реакцию, но недостаточно организованы и сознательны, чтоб ей наследовать. Имелось могущественное рабочее движение, но не было развитой классовой борьбы пролетариата, ставящей себе определенные политические цели. Неспособный овладеть кормилом, пролетариат не мог подвинуть на этот исторический подвиг и буржуазную демократию, которая, как это часто бывает с ней, скрылась в самую нужную минуту. Чтобы вынудить эту абсентеистку к выполнению ее обязанностей, пролетариату нужно было, во всяком случае, не меньше силы и зрелости, чем для того, чтобы самому организовать временное рабочее правительство.

В общем, получилось положение, которое один современник совершенно правильно характеризует словами: «В Вене фактически установилась республика, но, к несчастью, никто не видал этого»... Никем не замеченная, республика надолго удалилась со сцены, уступив свое место Габсбургам. Раз утерянная коньюнктура не возвращается вторично.

Из опыта венгерской и германской революции Лассаль сделал вывод, что отныне революция может найти опору только в классовой борьбе пролетариата.

В своем письме от 24 октября 1849 г. Лассаль пишет Марксу: «Венгрия имеет больше шансов, чем какая-либо иная страна, счастливо кончить борьбу. И это—среди других причин—потому, что там партии еще не достигли определенного разделения, резкого антагонизма, как в Западной Европе, потому что революция там была облечена в значительной степени в форму национальной борьбы за независимость. Тем не менее, Венгрия была побеждена и именно вследствие предательства **национальной партий**».

«Из этого,—продолжает Лассаль,—в связи с историей Германии 1848 и 1849 гг.—я извлек тот непоколебимый урок, что никакая борьба в Европе не может быть успешна, если только с самого начала она не будет провозглашена чисто социалистической; что не может больше удастся никакая борьба, в которой социальные вопросы входят лишь, как туманный элемент, и стоят на заднем плане, и которая, с внешней стороны, ведется под знаменем национального возрождения или буржуазного республиканизма»

Не будем останавливаться на критике этих решительных выводов. В них, во всяком случае, безусловно верно то, что уже в середине девятнадцатого столетия национальная задача политического раскрепощения не могла быть разрешена

единодушным и согласованным напором всей нации. Только независимая тактика пролетариата, черпающего в своем классовом положении, и только в нем, силы для борьбы ,могла бы обеспечить победу революции.

Русский рабочий класс 1906 г. совершенно не похож на венский—48 г. И лучшим доказательством этому является всероссийская практика Советов Рабочих Депутатов. Это не заранее заготовленные заговорщические организации, в минуту возбуждения захватившие власть над пролетарской массой. Нет, это органы, планомерно созданные самой этой массой, для координирования ее революционной борьбы. И эти выбранные массой и перед массой ответственные Советы, эти безусловно демократические учреждения, ведут самую решительную классовую политику в духе революционного социализма.

С особенной резкостью социальные особенности русской революции проявляются в вопросе о вооружении народа.

Милиция (национальная гвардия) была первым лозунгом и первым завоеванием всех революций: 1789 и 1848 гг.— в Париже, во всех государствах Италии, в Вене и Берлине. В 48 г. национальная гвардия (т. е. вооружение имущих и «образованных») была лозунгом всей буржуазной оппозиции, даже самой умеренной, и имела задачей не только обезопасить добытые или только подлежащие «пожалованию» свободы от переворотов сверху, но и буржуазную собственность от покушений пролетариата. Таким образом, милиция была резко классовым требованием буржуазии. «Итальянцы хорошо понимали», говорит либеральный английский историк об'единенной Италии», что вооружение гражданской милиции сделало бы дальнейшее существование деспотизма невозможным. Кроме того, для владеющих классов это была гарантия против возможной анархии и всех беспорядков, таившихся в глубине» *). И правящая реакция, не располагавшая достаточной военной силой в центрах действия, чтобы справиться с «анархией», т. е. с революционной массой, вооружала буржуазию. Абсолютизм предоставлял сперва бюргерам подавить и усмирить рабочих, а затем разоружал и усмирял самих бюргеров.

У нас милиция, как лозунг, не имеет никакого кредита у буржуазных партий. Либералы не могут, в сущности, не поня-

*) Бальтон Кинг: «История об'единения Италии» М. т. I., стр. 220.

мать важности вооружения: абсолютизм дал им на этот счет несколько предметных уроков. Но они понимают также полную невозможность создания у нас милиции помимо пролетариата и против пролетариата. Русские рабочие мало похожи на рабочих 48 г., которые набивали карманы камнями, а в руки брали лом, в то время, как лавочники, студенты и адвокаты имели на плече королевские мушкеты, а с боку—сабли.

Вооружить революцию значит у нас прежде всего вооружить рабочих. Зная это и боясь этого, либералы вовсе отказываются от милиции. Они без боя сдают абсолютизму и эту позицию,—как буржуазия Тьера сдала Бисмарку Париж и Францию, только бы не вооружать рабочих.

В сборнике «Конституционное государство», в этом манифесте либерально-демократической коалиции, г. Дживелегов, рассуждая о возможностях государственного переворота, совершенно верно говорит, что «само общество в нужный момент должно обнаружить готовность встать на защиту своей конституции». И так как отсюда, само собою вытекает требование народного вооружения, то либеральный философ тут же считает нужным прибавить», что для отражения переворотов «вовсе нет необходимости, чтобы все держали наготове оружие» *). Нужно только, чтобы само общество было готово оказать отпор. Каким путем—неизвестно. Если из этой увертки что-нибудь и вытекает, так это лишь то, что в сердцах наших демократов страх перед вооруженным пролетариатом пересиливает страх перед самодержавной солдатчиной.

Тем самым задача вооружения революции падает всей своей тяжестью на пролетариат. И гражданская милиция—классовое требование буржуазии 48 г.—с самого начала выступает у нас, как требование народного и, даже прежде всего, пролетарского вооружения. На этом вопрсе сказывается вся судьба русской революции.

4. Революция и пролетариат.

Революция—это открытое соразмерение социальных сил в борьбе за власть. Государство—не самодель. Оно только рабочая машина в руках господствующей социальной силы. Как всякая машина, государство имеет свой двигательный.

*) «Конституционное государство» Сборник статей. 1 изд. стр. 49.

передаточный и исполнительный механизм. Двигательная сила—это классовый интерес; его механизм—это агитация, печать, церковная и школьная пропаганда, партия, уличное собрание, петиция, восстание. Передаточный механизм—это заководательная организация кастового, династического, сословного или классового интереса под видом божественной (абсолютизм) или национальной (парламентаризм) воли. Наконец, исполнительный механизм—это администрация с полицией, суд с тюрьмой, армия.

Государство—не самоцель. Но оно величайшее средство организации, дезорганизации и реорганизации социальных отношений. Смотря по тому, в чьих руках оно находится, оно может быть рычагом глубокого переворота или орудием организованного застоя.

Всякая политическая партия, заслуживающая этого имени, стремится овладеть правительственной властью и, таким образом, поставить государство на службу тому классу, интересы которого она выражает. Социал-демократия, как партия пролетариата, естественно, стремится к политическому господству рабочего класса.

Пролетариат растет и крепнет вместе с ростом капитализма. В этом смысле развитие капитализма есть развитие пролетариата к диктатуре. Но день и час, когда власть перейдет в руки рабочего класса, зависит непосредственно не от уровня производительных сил, а от отношений классовой борьбы, от международной ситуации, наконец, от ряда суб'ективных моментов; традиции, инициативы, боевой готовности...

В стране, экономически более отсталой, пролетариат может оказаться у власти раньше, чем в стране капиталистически передовой. В 71 г. он сознательно взял в свои руки управление общественными делами в мелкобуржуазном Париже—правда, только на два месяца,—но ни на один час он не брал власти в крупно-капиталистических центрах Англии, или Соединенных Штатов. Представление о какой-то автоматической зависимости пролетарской диктатуры от технических сил и средств страны—представляет собою предрассудок упрощенного до крайности «экономического» материализма. С марксизмом такой взгляд не имеет ничего общего.

Русская революция создаст, на наш взгляд, такие условия, при которых власть может (при победе революции должна) перейти в руки пролетариата, прежде чем поли-

тики буржуазного либерализма получат возможность в полном виде развернуть свой государственный гений.

Подводя в американской газете «Tribuen» итоги революции и контр-революции 48—49 гг., Маркс писал: «Рабочий класс в Германии по своему общественному и политическому развитию стоит настолько же позади рабочего класса Англии или Франции, насколько германская буржуазия позади буржуазии этих стран. Каков хозяин, таков и работник. Развитие условий существования многочисленного, сильного, концентрированного и сознательного класса пролетариев идет рука об руку с развитием условий существования численного, богатого, концентрированного и влиятельного среднего класса. Само движение рабочего класса никогда не является самостоятельным, никогда не принимает исключительно пролетарский характер, пока различные части среднего класса и, в частности, его наиболее прогрессивная доля,—крупные промышленники,—не завоюют политической власти и не переделают государства сообразно со своими потребностями. Лишь тогда неизбежное столкновение между нанимателями и наемниками делается неминуемым и не может быть отложено далее...» *) Эта цитата, вероятно, известна читателю, так как за последнее время ею часто злоупотребляли текстуальные марксисты. Ее выдвигали как несокрушимый аргумент против идеи рабочего правительства в России. «Каков хозяин, таков работник». Если русская капиталистическая буржуазия недостаточно сильна, чтобы взять в свои руки государственную власть, то тем менее может идти речь о рабочей демократии, т. е. о политическом господстве пролетариата.

Марксизм есть прежде всего метод анализа,—не анализа текстов, а анализа социальных отношений. Верно ли в применении к России, что слабость капиталистического либерализма непременно означает слабость рабочего движения? Верно ли в применении к России, что самостоятельное пролетарское движение возможно не раньше, чем буржуазия завоюет государственную власть? Достаточно поставить эти вопросы, чтобы понять, какой безнадежный формализм мышления скрывается за попыткой превратить исторически-относительное замечание Маркса в сверх-историческую (Supra historique) теорему.

*) К. Маркс. Германия в 1848 г. Изд. Алексеевой. 1905 г, стр. 8, 9.

Развитие фабрично-заводской промышленности в России хотя и носило в периоды промышленного под'ема «американский» характер, но действительные размеры нашей капиталистической индустрии кажутся детскими по сравнению с индустрией Американских Штатов. 5 миллионов человек, 16,6% хозяйственно деятельного населения, занято в обрабатывающей промышленности России; для Соединенных Штатов соответственные числа будут: 6 миллионов, 22,2%. Эти числа говорят еще сравнительно немного; они станут красноречивее, если вспомнить, что население России почти вдвое больше населения Штатов. Но для того, чтобы получить представление о действительных размерах индустрии этих двух стран, нужно указать, что в 1900 г. американские заводы, фабрики и крупные ремесленные заведения выпустили в продажу товаров на 25 миллиардов рублей, тогда как Россия за тот же период произвела на своих фабриках и заводах товаров менее чем на 2½ миллиарда рублей *).

Численность промышленного пролетариата, его концентрированность, его культурность, его политическое значение зависят, несомненно, от степени развития капиталистической индустрии. Но эта зависимость не непосредственная. Между производительными силами страны и политическими силами ее классов в каждый данный момент пересекаются различные социально-политические факторы национального и интернационального характера, и они отклоняют, и даже совершенно видоизменяют политическое выражение экономических отношений. Несмотря на то, что производительные силы индустрии Соединенных Штатов в десять раз выше, чем у нас, политическая роль русского пролетариата, его влияние на политику своей страны, возможность его близкого влияния на мировую политику—несравненно выше, чем роль и значение американского пролетариата.

В своей недавно написанной работе об американском пролетариате, Каутский указывает на то, что между политической силой пролетариата и буржуазии, с одной, и уровнем капиталистического развития, с другой стороны, нет прямого и непосредственного соответствия. «Существуют два государства», говорит он, «диаметрально противоположные друг другу: в одном из них непомерно, т. е. несоответственной высоте капиталистического способа производства,

*) Д. Менделеев. «К познанию России» 1906 г. стр. 99.

развит один из элементов последнего, в другом — другой; в Америке — класс капиталистов, в России — пролетариат. В Америке с большим, чем где бы то ни было, основанием можно говорить о диктатуре капитала, а борющийся пролетариат нигде не приобретал такого значения, как в России, и это значение должно увеличиваться и, несомненно, увеличится, ибо эта страна лишь недавно стала принимать участие в современной классовой борьбе и лишь недавно дала для этой борьбы некоторый простор». Указав, что Германия может в известной мере изучать свое б у д у щ е е на России, Каутский продолжает: «В самом деле, чрезвычайно странно, что именно русский пролетариат укажет нам наше будущее, поскольку оно выражается не в организации капитала, а в протесте рабочего класса: Россия — наиболее отсталое из всех больших государств капиталистического мира; это, как будто, противоречит, — замечает Каутский, — материалистическому пониманию истории, согласно которому экономическое развитие служит основой политического; но, в сущности, продолжает он,—это противоречит лишь такому материалистическому пониманию истории, какое изображают наши противники и критики, видящие в нем не м е т о д и с с л е д о в а н и я, а лишь готовый ш а б л о н» *). Эти строки особенно нужно рекомендовать вниманию тех отеечственных марксистов, которые самостоятельный анализ общественных отношений заменяют дедукцией из текстов, подобранных на все случаи жизни. Никто так не компрометирует марксизма, как эти титулярные марксисты!

Итак, по оценке Каутского, Россия в экономической области характеризуется относительно низким уровнем капиталистического развития, в политической сфере — ничтожеством капиталистической буржуазии и могуществом революционного пролетариата. Это приводит к тому, что «борьба за интересы целой России выпала на долю е д и н с т в е н н о г о и м е ю щ е г о с я в н е й т е п е р ь с и л ь н о г о к л а с с а — промышленного пролетариата. Поэтому последний имеет там громадное политическое значение; поэтому же в России борьба за освобождение ее от удушающего ее полипа абсолютизма превратилась в е д и н о-

*) К. Каутский. Американский и русский рабочий Спб. 1906 г. стр. 4,5.

борство последнего с промышленным рабочим классом, единоборство, в котором крестьянство может оказать значительную поддержку, но неспособно играть руководящую роль» **).

Не дает ли все это нам права сделать вывод, что русский «работник» может оказаться у власти раньше, чем его «хозяин»?

Политический оптимизм может быть двоякого рода. Можно преувеличенно оценивать свои силы и выгоды революционной ситуации и ставить себе задачи, разрешение которых не допускается данным соотношением сил. Но можно и, наоборот, оптимистически ограничивать свои революционные задачи пределом, за который нас неизбежно перебросит логика нашего положения.

Можно ограничивать рамки всех вопросов революции утверждением, что наша революция — буржуазная по своим об'ективным целям и, значит, по своим неизбежным результатам, и можно при этом закрывать глаза на тот факт, что главным деятелем этой буржуазной революции является пролетариат, который всем ходом революции толкается к власти.

Можно успокаивать себя тем, что в рамках буржуазной революции политическое господство пролетариата будет лишь преходящим эпизодом, и можно при этом забывать о том, что пролетариат, раз получив в свои руки власть, не отдаст ее без самого отчаянного сопротивления, не выпустит ее, доколе она не будет у него вырвана вооруженной рукой.

Можно успокаивать себя тем, что социальные условия России еще не созрели для социалистического хозяйства,— и можно при этом не задумываться над тем, что, став у власти, пролетариат неизбежно, всей логикой своего положения, будет толкаться к ведению хозяйства, за государственный счет.

Общее социологическое определение — буржуазная революция — вовсе не разрешает тех политико-тактических задач, противоречий и затруднений, которые выдвигаются механикой данной буржуазной революции.

В рамках буржуазной революции конца XVII века,

**) Д. Менделеев. „К познанию России". 1906 г. стр. 10.

имевшей своей об'ективной задачей господство капитала, оказалась возможной диктатура санкюлотов. Эта диктатура не была простым мимолетным эпизодом, она наложила печать на все последующее столетие,—и это, несмотря на то, что она очень скоро сокрушилась об ограниченные рамки буржуазной революции. В революции начала XX века, которая также является буржуазной по своим непосредственным об'ективным задачам, вырисовывается в ближайшей перспективе неизбежность или хотя бы только вероятность политического господства пролетариата. Чтоб это господство не оказалось простым мимолетным «эпизодом», как надеются некоторые реалистические филистеры, об этом позаботится сам пролетариат. Но уже сейчас можно поставить перед собой вопрос: должна ли неизбежно диктатура пролетариата разбиться о рамки буржуазной революции, или же, на данных м и р о в ы х и с т о р и ч е с к и х основаниях, она может открыть пред собой перспективу победы, разбив эти ограниченные рамки? И отсюда вытекают для нас тактические вопросы: должны ли мы сознательно идти навстречу рабочему правительству, по мере того, как революционное развитие приближает нас к этому этапу,—или же мы должны смотреть в данное время на политическую власть, как на несчастье, которое буржуазная революция готовится обрушить на головы рабочих и от которого им лучше всего уклониться?

Не приходится ли нам применить к себе те слова, которые «реалистический» политик Фольмар сказал когда то о коммунарах 71 г.: «вместо того, чтобы брать в свои руки власть, они сделали бы лучше, если бы пошли спать».

5. Пролетариат у власти и крестьянство.

В случае решительной победы революции, власть переходит в руки класса, игравшего в борьбе руководящую роль, — другими словами, в руки пролетариата. Разумеется, скажем тут же, это вовсе не исключает вхождения в правительство революционных представителей непролетарских общественных групп.

Они могут быть и должны быть, — здравая политика заставит пролетариат приобщить к власти влиятельных вождей мещанства, интеллигенции или крестьянства. Весь вопрос в том, к т о д а с т с о д е р ж а н и е п р а в и т е л ь-

ственной политике, кто сплотит в ней однородное большинство?

Одно дело, когда в рабочем, по составу своего большинства, правительстве участвуют представители демократических слев народа, — другое дело, когда в определенном буржуазно-демократическом правительстве участвуют, в качестве более или менее почетных заложников, представители пролетариата.

Политика либеральной капиталистической буржуазии во всех своих колебаниях, отступлениях и изменах очень определенна. Политика пролетариата еще того более определенна и закончена. Но политика интеллигенции — в силу ее социальной промежуточности и политической гибкости, — политика крестьянства — в силу его социальной разнородности, промежуточности, примитивности, — политика мещанства — опять-таки в силу его безличности, промежуточности и полного отсутствия политических традиций, — политика этих трех общественных групп совершенно неопределенна, неоформлена, полна возможностей и, значит, неожиданностей.

Достаточно попытаться представить себе революционное демократическое правительство без представителей пролетарита, чтобы полная нелепость такого представления ударила в глаза. Отказ соц.-дем. от участия в революционном правительстве означал бы полную невозможность самого революционного правительства и был бы, таким образом, изменой делу революции. Но участие пролетариата в правительстве и об'ективно наиболее вероятно, и принципиально допустимо лишь, как доминирующее и руководящее участие. Можно, конечно, назвать это правительство диктатурой пролетариата и крестьянства, диктатурой пролетариата, крестьянства, и интеллигенции или, наконец, коалиционным правительством рабочего класса и мелкой буржуазии. Но все же останется вопрос: кому принадлежит гегемония в самом правительстве и через него в стране? И когда мы говорим о рабочем правительстве, то этим мы отвечаем, что гегемония будет принадлежать рабочему классу.

Конвент, как орган якобинской диктатуры, вовсе не состоял из одних якобинцев; более того, якобинцы были в нем даже в меньшинстве. Но влияние санкюлотов за стенами Конвента и необходимость решительной политики для спа-

сения страны — передали власть в руки якобинцев. Таким образом, Конвент, будучи формально национальным представительством, составлявшимся якобинцами, жирондистами и огромным болотом, был по существу диктатурой якобинцев.

Когда мы говорим о рабочем правительстве, мы имеем в виду господствующее и руководящее положение в нем рабочих представителей.

Пролетариат не сможет упрочить свою власть, не расширив базы революции.

Многие слои трудящейся массы, особенно в деревне, будут впервые вовлечены в революцию и получат политическую организацию лишь после того, как авангард революции, городской пролетариат, станет у государственного кормила. Революционная агитация и организация будут проводиться при помощи государственных средств. Наконец, сама законодательная власть станет могучим орудием революционизирования народных масс. При этом характер наших социально-исторических отношений, который всю тяжесть буржуазной революции взваливает на плечи пролетариата создаст для рабочего правительства не только громадные трудности, но, по крайней мере, в первый период его существования, даст ему также и неоценимые преимущества. Это скажется в отношениях пролетариата и крестьянства.

В революциях 89—93 г.г. и 48 г. власть сперва переходила от абсолютизма к умеренным элементам буржуазии; эта последняя освобождала крестьянство (как—это другой вопрос) прежде, чем революционная демократия получала или собиралась получить власть в свои руки. Раскрепощенное крестьянство теряло всякий интерес к политическим затеям «горожан», т. е. к дальнейшему ходу революции, и, ложась неподвижным пластом в основу «порядка», выдавало революцию головой цезаристской или исконно-абсолютистской реакции.

Русская революция не даст и еще долго не даст установиться какому-нибудь буржуазно-конституционному порядку, который мог бы разрешить самые примитивные задачи демократии. Что же касается реформаторов-бюрократов в стиле Витте или Столыпина, то все их «просвещенные» усилия разрушаются их же собственной борьбой за существование. Вследствие этого судьба самих

элементарных революционных интересов крестьянства, даже **всего** крестьянства, как **сословия**, — связывается с судьбой всей революции, т. е. с судьбой пролетариата.

Пролетариат у власти предстанет пред крестьянством, как класс-освободитель.

Господство пролетариата не только будет означать демократическое равенство, свободное самоуправление, перенесение всей тяжести налогового бремени на имущие классы, растворение постоянной армии в вооруженном народе, уничтожение обязательных поборов церкви, но и признание всех произведенных крестьянами революционных перетасовок (захватов) в земельных отношениях. Эти перетасовки пролетариат сделает исходным пунктом для дальнейших государственных мероприятий в области сельского хозяйства.

При таких условиях, русское крестьянство будет, во всяком случае, не меньше заинтересовано в течение первого, наиболее трудного, периода — в поддержании пролетарского режима («рабочей демократии»), чем французское крестьянство было заинтересовано в поддержании военного режима Наполеона Бонапарта, гарантировавшего новым собственникам силою штыков неприкосновенность их земельных участков. А это значит, что народное представительство, созванное под руководством пролетариата, заручившегося поддержкой крестьянства, явится ничем иным, как демократическим оформлением господства пролетарита.

Но может быть само крестьянство оттеснит пролетариат и займет его место?

Это невозможно. Весь исторический опыт протестует против этого предположения. Он доказывает, что крестьянство совершенно неспособно к **самостоятельной** политической роли *).

---

*) Не опровергает ли факт возникновения и развития сперва «Крестьянского Союза», затем — Трудовой Группы в Думе, этих дальнейших соображений? Нисколько. Что представляет собою «Крестьянский Союз»? Об'единение некоторых элементов радикальной демократии, ищущей масс, с наиболее сознательными элементами крестьянства — по-видимому, не низших его слоев — во имя демократического переворота и аграрной реформы.

Что касается аграрной программы «Крестьянского Союза» («Уравни- тельное землепользование»), составляющей смысл его существования, то нужно сказать следующее. Чем шире и глубже развивается аграрное движение, чем скорее оно дойдет до конфискации и раздела, тем быстрее разложится «Крестьянский Союз» в силу тысячи противоречий классовых, местных, бытовых, технических. Члены его будут оказывать свое влия-

История капитализма—это история подчинения деревни городу. Индустриальное развитие европейских городов сделало в свое время невозможным дальнейшее существование феодальных отношений в области земледельческого производства.

Но сама деревня не выдвинула такого класса, который мог бы справиться с революционной задачей уничтожения феодализма. Тот же город, который подчинил сельское хозяйство капиталу, выдвинул революционные силы, которые взяли в свои руки политическую гегемонию над деревней и распространили на нее революцию в государственных и имущественных отношениях. В дальнейшем развитии и деревня окончательно попадает в экономическую кабалу к капиталу, а крестьянство—в политическую кабалу к капиталистическим партиям. Они возрождают феодализм в парламентарной политике, превращая крестьянство в свой политический домен, в место своей избирательной охоты. Современное буржуазное государство, посредством фиска и милитаризма, толкает крестьян в пасть ростовщическому капиталу, а посредством государственных попов, государственной школы и казарменного развращения, делает его жертвой ростовщической политики.

Русская буржуазия сдает пролетариату все революционные позиции. Ей придется сдать и революционную гегемонию над крестьянством. При той ситуации, которая создастся переходом власти к пролетариату, крестьянству останется лишь присоединиться к режиму рабочей демократии. Пусть даже оно сделает это не с большей сознательностью, чем оно обычно присоединяется к буржуазному режиму! Но в то время, как каждая буржуазная партия, овладев голосами крестьянства, спешит воспользоваться

влияния в крестьянских комитетах, органах аграрной революции на местах,—но уж, конечно, крестьянским комитетам, хозяйственно-административным учреждениям, не уничтожить той политической зависимости деревни от города, которая составляет одну из основных черт современного общества.

Трудовая Группа в своем радикализме и в своей бесформенности выражала противоречивость революционных стремлений крестьянства. В период конституционных иллюзий она беспомощно шла за кадетами. В момент ликвидации Думы Трудовая Группа естественно оказалась подчиненной руководству социалдемократической фракции. Несостоятельность крестьянского правительства с особенной очевидностью проявится в те дни, когда наиболее будет самая решительная инициатива,—в дни перехода власти в руки революции.

властью, чтоб обобрать крестьянство и обмануть его во всех ожиданиях и обещаниях, а затем, в худшем для себя случае, уступить место другой капиталистической партии, пролетариат, опираясь на крестьянство, приведет в движение все силы для повышения культурного уровня в деревне и развития в крестьянстве политического сознания.

Из сказанного ясно, как мы смотрим на идею «диктатуры пролетариата и крестьянства». Суть не в том, считаем ли мы ее принципиально-допустимой, «хотим мы или не хотим» такой формы политической кооперации. Но мы считаем ее неосуществимой—по крайней мере, в прямом и непосредственном смысле.

В самом деле. Такого рода коалиция предполагает, что либо одна из существующих буржуазных партий овладевает крестьянство, либо, что крестьянство создает самостоятельную могучую партию. Ни то, ни другое, как мы старались показать, невозможно.

6. Пролетарский режим.

Достигнуть власти пролетариат может, только опираясь на национальный под'ем, на общенародное воодушевление. Пролетариат вступит в правительство, как революционный представитель нации, как признанный народный вождь в борьбе с абсолютизмом и крепостным коварством. Но став у власти, пролетариат откроет новую эпоху—эпоху революционного законодательства, положительной политики,—и здесь сохранение за ним роли признанного выразителя нации вовсе не обеспечено. Первые мероприятия пролетариата—очистка авгиевых конюшен старого режима и изгнание их обитателей—встретят деятельную поддержку всей нации, что бы ни говорили либеральные кастраты о прочности монархических предрассудков народных масс.

Политическая расчистка будет дополняться демократической реорганизацией всех общественных и государственных отношений. Рабочему правительству придется, под влиянием непосредственных толчков и запросов, вмешиваться решительно во все отношения и явления...

Первым делом оно должно будет вышвырнуть вон всех запятнавших себя народною кровью из армии и администрации, распустить или расквартировать наиболее запятнавшие себя преступлением против народа полки. Эту работу

необходимо будет выполнить в первые же дни, т. е. за долго до того, как возможно будет провести систему выборного и ответственного чиновничества и приступить к организации народной милиции. Но, ведь, на этом дело не остановится. Пред рабочей демократией немедленно предстанут: вопрос о норме рабочего времени, аграрный вопрос и проблема безработицы.

Несомненно одно. Каждый новый день будет углублять политику пролетариата у власти и все более и более определять ее классовый характер. И вместе с тем будет нарушаться революционная связь между пролетариатом и нацией, классовое расчленение крестьянства выступит в политической форме, антагонизм между составными частями будет расти в той мере, в какой политика рабочего правительства будет самоопределяться и из общедемократической—становится классовой.

Если отсутствие сложившихся буржуазно-индивидуалистических традиций и антиреволюционных предрассудков у крестьянства и интеллигенции и поможет пролетариату стать у власти, то, с другой стороны, нужно принять во внимание, что это отсутствие предрассудков опирается не на политическое сознание, а на политическое варварство, на социальную неоформленность, примитивность, безхарактерность. А все это такие свойства и черты, которые никоим образом не могут создать надежного базиса для последовательной активной политики пролетариата.

Уничтожение сословного крепостничества встретит поддержку всего крестьянства, как тяглового сословия. Подоходно-прогрессивный налог встретит поддержку огромного большинства крестьянства; но законодательные меры в защиту земледельческого пролетариата не только не встретят такого активного сочувствия большинства, но и натолкнутся на активное сопротивление меньшинства.

Пролетариат окажется вынужденным вносить классовую борьбу в деревню и, таким образом, нарушать ту общность интересов, которая, несомненно, имеется у всего крестьянства, но в сравнительно узких пределах. Пролетариату придется в ближайшие же моменты своего господства искать опоры в противопоставлении деревенской бедноты деревенским богачам, сельско-хозяйственного пролетариата—земледельческой буржуазии. Но если неоднородность крестьянства представит затруднения и суит

пролетарской политики, то недостаточная классовая дифференциация крестьянства будет создавать препятствия внесению в крестьянство развитой классовой борьбы, на которую мог бы опереться городской пролетариат. Примитивность крестьянства повернется к пролетариату своей враждебной стороной.

Но охлаждение крестьянства, его политическая пассивность, а тем более активное противодействие его верхних слоев не смогут остаться без влияния на часть интеллигенции и на городское мещанство.

Таким образом, чем определеннее и решительнее будет становиться политика пролетариата у власти, тем уже будет под ним базис, тем зыбче будет почва под его ногами. Все это крайне вероятно, даже неизбежно.

Две главные части пролетарской политики встретят противодействия со стороны его союзников: это коллективизм и интернационализм.

Мелкобуржуазный характер и политическая примитивность крестьянства, деревенская ограниченность кругозора, оторванностью от мировых политических связей представят страшное затруднение для упрочения революционной политики пролетариата у власти.

Представлять себе дело так, что социал-демократия входит во временное правительство, руководит им в период революционно-демократических реформ, отстаивая их наиболее радикальный характер и опираясь при этом на организованный пролетариат,—и затем когда демократическая программа выполнена, соц.-дем. выходит из выстроенного ею здания, уступая место буржуазным партиям, а сама переходит в оппозицию и, таким образом, открывает эпоху парламентарной политики—представлять себе дело так, значило бы компрометировать самую идею рабочего правительства. И не потому, что это «принципиально» недопустимо—такая абстрактная постановка вопроса лишена содержания,—а потому, что это совершенно не реально, это—утопизм худшего сорта, это какой-то революционно-филистерский утопизм.

И вот почему.

Разделение нашей программы на минимальную и максимальную имеет громадное и глубоко-принципиальное значение при том условии, что власть находится в руках буржуазии. Именно этот факт—принадлежность власти буржуа-

ний—изгоняет из нашей минимальной программы все требования, которые непримиримы с частной собственностью на средства производства. Эти последние требования составляют содержание социалистической революции, и их предпосылкой является диктатура пролетариата.

Но раз власть находится в руках революционного правительства с социалистическим большинством, как тотчас же различие между минимальной и максимальной программой теряет и принципиальное, и непосредственно-практическое значение. Удержаться в рамках этого разграничения пролетарское правительство никоим образом не сможет. Возьмем требование 8-часового рабочего дня. Оно, как известно, отнюдь не противоречит капиталистическим отношениям и потому входит в минимальную программу социал-демократии. Но представим себе картину его реального проведения в революционный период при напряжении всех социальных страстей. Несомненно, новый закон натолкнулся бы на организованное и упорное сопротивление капиталистов—скажем в форме локаута и закрытия фабрик и заводов.

Сотни тысяч рабочих оказались бы выброшенными на тельство. Что бы сделало правительство? Буржуазное правительство, как бы радикально оно ни было, никогда не дало бы делу зайти так далеко, ибо перед закрытыми фабриками и заводами оно оказалось бы бессильным. Оно бы вынужденно было пойти на уступки, 8-часовой рабочий день не был бы введен, возмущения пролетариата были бы подавлены...

При политическом господстве пролетариата проведение 8-часового рабочего дня должно привести к совершенно другим последствиям. Закрытие фабрик и заводов капиталистами не может быть, разумеется, основанием к удлинению рабочего дня, для правительства, которое хочет опираться на пролетариат, а не на капитал, как либерализм, и не играть роли «беспристрастного» посредника буржуазной демократии. Для рабочего правительства выход будет только один: экспроприация закрытых фабрик и заводов и организация на них работ за общественный счет.

Конечно, можно рассуждать так. Допустим, что рабочее правительство, верное своей программе, декретирует 8-часовой рабочий день; если капитал оказывает противодействие, непреодолимое средствами демократической про-

граммы, предполагающей сохранение частной собственности, соц.-дем. уходит в отставку, аппелируя к пролетариату. Такое решение было бы решением только с точки зрения той группы, которая составляла персонал правительства,—но это не решение с точки зрения пролетариата или с точки зрения развития самой революции. Потому что после выхода в отставку соц.-дем., положение окажется такое же, какое было прежде и какое заставило ее взять эту власть. Бегство в виду организованного противодействия капиталу будет еще большей изменой революции, чем отказ взять в свои руки власть: ибо, поистине, лучше не входить, чем войти только для того, чтобы обнаружить свое бессилие и уйти.

Еще пример. Пролетариат у власти не сможет не принять самых энергичных мер для решения вопроса о безработице, ибо, само собою разумеется, что представители рабочих, входящие в состав правительства, не смогут на требование безработных отвечать ссылкой на буржуазный характер революции.

Но если только государство возьмет на себя обеспечение существования безработных—для нас сейчас безразлично в какой форме,—этим будет сразу совершено огромное перемещение экономической силы в сторону пролетариата. Капиталисты, давление которых на пролетариат всегда опиралось на факт существования резервной армии, почувствуют себя э к о н о м и ч е с к и бессильными, а революционное правительство обречет их в то же время на п о л и т и ч е с к о е бессилие.

Взяв на себя поддержку безработных, государство тем самым берет на себя задачу обеспечения существования стачечников, Если оно этого не сделает, оно сразу и непоправимо подкопает под собой устои своего существования.

Фабрикантам не останется ничего другого, как прибегнуть к локауту, т. е. закрытию фабрик. Совершенно ясно, что фабриканты дольше выдержат приостановку производства, чем рабочие,—и рабочему правительству на массовый локаут останется только один ответ: экспроприация фабрик и введение в них, по крайней мере, в крупнейших, государственного или коммунального производства.

В области сельского хозяйства аналогичные проблемы создадутся уже самим фактом экспроприации земли. Никоим образом нельзя предположить, что пролетарское правительство, экспроприировав частновладельческие имения

с крупным производством, разобьет их на участки и предаст для эксплоатации мелким производителям; единственный путь для него—это организация кооперативного производства под коммунальным контролем или прямо за государственный счет. Но это—путь социализма.

Все это совершенно ясно показывает, что социал-демократия не может вступить в революционное правительство, дав предварительно пролетариату обязательство ничего не уступать из минимальной программы и обещав буржуазии не переступать за пределы минимальной программы. Такое двустороннее обязательство было бы совершенно невыполнимым. Вступая в правительство не как бессильные заложники, а как руководящая сила, представители пролетариата тем самым разрушают грань между минимальной и максимальной программой, т. е. ставят коллективизм в порядок дня. На каком пункте пролетариат будет остановлен в этом направлении, это зависит от соотношения сил, но никак не от первоначальных намерений партий пролетариата.

Вот почему не может быть и речи о какой-то особенной форме пролетарской диктатуры в буржуазной революции, именно о демократической диктатуре пролетариата (или пролетариата и крестьянства). Рабочий класс не сможет обеспечить демократический характер своей диктатуры, не переступая за границы своей демократической программы. Всякие иллюзии на этот счет были бы совершенно пагубны. Они скомпрометировали бы социал-демократию с самого начала.

Раз партия пролетарката возьмет власть, она будет бороться за нее до конца. Если одним средством этой борьбы за сохранение и упрочение власти будет агитация и организация, особенно в деревне, то другим средством будет коллективистская политика. Коллективизм станет не только неизбежным выводом из положения партии у власти, но и средством сохранить это положение, опираясь на пролетариат.

Когда в социалистической прессе была формулирована идея непрерывной революции, связывающей ликвидацию абсолютизма и гражданского крепостничества с социалистическим переворотом рядом нарастающих социальных столкновений, восстаний новых слоев массы, непрекращающихся аттак пролетариата на политические и

экономические привиллегии господствующих классов, то «прогрессивная» печать подняла единодушный негодующий вопль, она многое терпела, но этого не может допустить. Революция, кричала она, не есть путь, который можно «узаконять». Применение исключительных средств позволительно лишь в исключительных случаях. Цель освободительного движения не увековечить революцию, но по возможности скорее ввести ее в русло п р а в а. И т. д. и проч.

Более радикальные представители той же демократии не рискуют выступать против революции с точки зрения уже сделанных конституционных «завоеваний»: даже для них этот парламентарный кретинизм, упредивший самое возникновение парламентаризма, не представляется сильным орудием в борьбе с революцией пролетариата. Они избирают другой путь; они становятся не на почву права, а на почву того, что им кажется фактами,—на почву исторических «возможностей»,—на почву политического «реализма»,—наконец... наконец, даже на почву «марксизма». Почему бы нет? Еще Антонио, благочестивый буржуа Венеции, очень метко сказал:

«Заметь себе, ссылаться может чорт
На доводы священного писания»...

Они не только считают фантастической самую идею рабочего правительства в Росси, но и отвергают возможность социалистической революции в Европе, в ближайшую историческую эпоху. Еще нет налицо необходимых «предпосылок». Верно ли это? Дело, конечно, не в том, чтобы назначить срок социалистической революции, а в том, чтобы установить ее реальные исторические перспективы.

7. Предпосылки социализма.

Марксизм сделал из социализма науку. Это не мешает иным «марксистам» делать из марксизма утопию.

Рожков, выступая против программы социализации и кооперации, следующим образом изображает «те необходимые предпосылки будущего строя, которые незыблемо утверждены Марксом». Разве теперь,—говорит Рожков,—имеется уже налицо материальная об'ективная его предпосылка, заключающаяся в таком развитии техники, которое делало бы мотив личной выгоды и наличность (?) личной

энергии, предприимчивости и риска до минимума и тем выдвинуло бы на первый план общественное производство; такая техника теснейшим образом связана с почти полным (!) господством крупного производства во всех (!) отраслях хозяйства, а разве этот результат достигнут? Отсутствует и психологическая, суб'ективная предпосылка — рост классового сознания пролетариата, доходящий до духовного об'единения подавляющего большинства народных масс. «Мы знаем,—говорит Рожков далее,—и теперь примеры производительных ассоциаций, таков, напр., известный французский стеклянный завод в Альби и некоторые земледельческие ассоциации в той же Франции... и вот, указанные французские опыты как нельзя лучше показывают, что даже хозяйственные условия такой передовой страны, как Франция, недостаточно развиты, чтобы создать возможность господства кооперации: предприятия эти—средних размеров, технический уровень их—не выше обыкновенных капиталистических предприятий, **они не идут во главе промышленного развития, не руководят им, а подходят к скромному среднему уровню.** Только тогда, когда отдельные опыты производительных ассоциаций укажут на их руководящую роль в хозяйственной жизни,—только тогда мы близки к новому строю, только тогда мы можем быть уверены, что сложились необходимые предпосылки для его осуществления» *).

Уважая добрые намерения т. Рожкова, мы с огорчением должны, однако, признать, что даже в буржуазной литературе нам редко приходилось встречать большую путаницу по части, так называемых, предпосылок социализма. На этой путанице стоит остановиться,—если не ради Рожкова, то ради вопроса.

Рожков заявляет, что теперь еще нет «такого развития техники, которое довело бы мотив личной выгоды и наличности(?) личной энергии, предприимчивости и риска до минимума и тем выдвинуло бы на первый план общественное производство». Смысл этой фразы открыть не легко. Повидимому, все же, т. Рожков хочет сказать, что, во-первых, современная техника еще недостаточно вытеснила из промышленности живой человеческий труд; что, во-вторых, такое вытеснение предполагает «почти» полное господ

*) Н. Рожков. К аграрному вопросу, стр. 21, 22.

ство крупных предприятий во всех отраслях хозяйства, и, значит, «почти» полную пролетаризацию всего населения страны.

Таковы две предпосылки, якооы «незыблемо установленные Марксом».

Попытаемся представить себе ту картину капиталистических отношений, которую застанет социализм по методу Рожкова. «Почти полное господство крупных предприятий во всех отраслях промышленности» при капитализме означает, как уже сказано, пролетаризацию всех мелких и средних производителей в области земледелия и индустрии, т. е. превращение всего населения в пролетарское. Но полное господство машинной техники на этих крупных предприятиях доводит до минимума потребление живого труда, и, таким образом, огромное большинство насеелния страны, надо думать, процентов 90, превращается в резервную армию, которая живет на государственный счет в работных домах. Мы взяли процентов 90, но ничто не мешает нам быть логичными и представить себе такое состояние, при котором все производство представляет собой единый автоматический механизм, принадлежащий единому синдикату и требующий, в качестве живого труда, только одного дрессированного орангутанга. Это, как известно, и есть ослепительно-последовательная теория Туган-Барановского. При таких условиях «общественное производство» не только выдвигается «на первый план», но овладевает всем полем; мало того, наряду с ним и при том совершенно естественно, организуется и общественное потребление, так как, очевидно, что вся нация, кроме 10% треста, будет жить на общественный счет в работных домах. Таким образом, из-за спины т. Рожкова нам улыбается хорошо знакомое нам лицо г. Туган-Барановского. Дальше выступает социализм: население выходит из работных домов и экспроприирует группу экспроприаторов. Ни революции, ни диктатуры пролетариата при этом, разумеется, не понадобится. Второй, экономический признак зрелости страны для социализма, по Рожкову, это возможность господства в ней кооперативного производства.

Даже во Франции кооперативный завод в Альби не выше других капиталистических предприятий. Социалистическое производство станет возможным лишь тогда, когда

кооперативы окажутся **во главе промышленного развития**, как **руководящие** предприятия.

Все рассуждения с начала до конца вывернуты на изнанку. Кооперативы не могут стать во главе промышленного развития не потому, что хозяйственное развитие еще недостаточно подвинулось вперед, а потому что оно слишком далеко подвинулось вперед. Несомненно, экономическое развитие создает почву для кооперации,—но для какой. Для капиталистической кооперации, основанной на наемном труде,—каждая фабрика представляет картину такой капиталистической кооперации. С развитием техники растет и значение этих кооперацій. Но каким образом развитие капитализма может дать место «во главе промышленности» товарищеским предприятиям? На чем основывает т. Рожков свои надежды на то, что кооперации оттеснят синдикаты и тресты и займут их руководящее место во главе промышленного развития? Очевидно, что если б это случилось, то кооперации должны были бы далее чисто автоматически эксплоатировать все капиталистические предприятия, после чего им оставалось бы соответственно понизить рабочий день, чтобы дать работу всем гражданам, и установить соответствие размеров производства в разных отраслях, чтобы избежать кризисов. Этим путем социализм оказался бы установленным в своих основных чертах. Опять-таки ясно, что ни в революции, ни в диктатуре рабочего класса совершенно не представилось бы никакой нужды.

Третья предпосылка — психологическая: необходим «рост классового сознания пролетариата, доходящий до духовного об'единения подавляющего большинства народных масс». Так как под духовным об'единением, очевидно, нужно в данном случае понимать сознательную социалистическую солидарность, значит т. Рожков считает, что психологической предпосылкой социализма является об'единение в рядах социал-демократии «подавляющего большинства народных масс». Таким образом, Рожков, очевидно, полагает, что капитализм, ввергающий мелких производителей в ряды пролетариата, а массы пролетариев—в ряды резервной армии, даст социал-демократии возможность духовно об'единить и просветить подавляющее большинство (процентов 90?) народных масс.

Это так же мало осуществимо в мире капиталистического варварства, как и господство кооперации, в царстве капи-

талистической конкуренции. Но если бы это было осуществимо, то, естественно, что сознательно и духовно об'единенное «подавляющее большинство» нации без всяких затруднений смяло бы немногих магнатов капитала и организовало бы социалистическое хозяйство без всякой революции и диктатур.

Перед нами встает следующий вопрос. Рожков считает себя учеником Маркса. А между тем Маркс, излагавший в «Коммунистическом Манифесте» «незыблемые предпосылки социализма», смотрел на революцию 48 г., как на непосредственный пролог социалистической революции. Конечно, теперь, через 60 лет, не нужно много проницательности, чтоб увидать, что Маркс ошибся, ибо капиталистический мир, как мы знаем, существует. Но как мог Маркс так ошибиться? Разве он не видел, что крупные предприятия еще не господствуют во всех отраслях промышленности. Что производительные товарищества еще не стоят во главе крупных предприятий? Что подавляющее большинство народа еще не об'единено на почве идей «Коммунистического Манифеста»? Если мы видим, что всего этого нет и теперь, то как же Маркс не видел, что ничего подобного не было в 48 году? Поистине Маркс 48 года—это утопический младенец перед лицом многих нынешних безошибочных автоматов марксизма!..

Мы видим, таким образом, что т. Рожков, отнюдь не принадлежащий к критикам Маркса, тем не менее совершенно уничтожает пролетарскую революцию, как необходимую предпосылку социализма. Так как Рожков только черезчур последовательно выразил воззрения, разделяемые не малым числом марксистов в обоих течениях нашей партии, то следует остановиться на принципиальных, методологических основах его заблуждений.

Нужно, впрочем, оговориться, что соображения Рожкова о судьбе кооперации представляют его индивидуальную собственность. Мы лично нигде и никогда не встречали социалистов, которые, с одной стороны, верили бы в такой простой неотразимый ход концентрации производства и пролетаризации народных масс и, в то же время, питали бы веру в руководящую роль производительных товариществ до пролетарской революции. Соединение этих двух предпосылок в экономической эволюции гораздо труднее, чем их

соединение в одной голове; хотя и это последнее нам всегда казалось невозможным.

Но мы остановимся на двух других «предпосылках», формирующих более типические предрассудки.

Несомненно, что предпосылками социализма являются и развитие техники, и кооперации производства, и рост сознания масс. Но все эти процессы совершаются одновременно и не только подталкивают и подгоняют друг друга, но и задерживают и о г р а н и ч и в а ю т друг друга. Каждый из этих процессов высшего порядка требует известного развития другого процесса низшего порядка,—но полное развитие каждого из них непримиримо с полным развитие других.

Развитие техники имеет, бесспорно, своим идеальным пределом единый автоматический механизм, который захватывает сырые материалы из недр природы и выбрасывает к ногам человека готовые предметы потребления. Если б существование капитализма не было ограничено классовыми отношениями и вытекающей из них революционной борьбой, то мы имели бы право предположить, что техника, приблизившись к идеалу единого автоматического механизма в рамках капиталистического хозяйства, тем самым автоматически упразднит капитализм.

Концентрация производства, вытекающая из законов конкуренции, имеет своей внутренней тенденцией пролетаризацию всего населения. И, изолировав эту тенденцию, мы имели бы право предположить, что капитализм доведет свое дело до конца, если бы процесс пролетаризации не был прерван революционным переворотом, неизбежным при известном соотношении классовых сил—задолго до того, как он превратить большинство населения в резервную армию, населяющую тюремные общежития.

Далее. Рост сознания, благодаря опыту повседневной борьбы и сознательным усилиям социалистических партий, несомненно, идет наступательно вперед,—и, изолировав этот процесс, мы можем мысленно довести его до того момента, когда подавляющее большинство народа будет охвачено профессиональными и политическими организациями, объединено чувством солидарности, и единством цели. И если б этот процесс действительно мог нарастать количественно, не изменяясь качественно, то социализм мог бы быть осуществлен мирно путем единодушного акта граждан XXI или XXII столетий.

Но вся суть в том, что эти процессы, исторически предпосылаемые социализму, не развиваются изолированно, но ограничивают друг друга и, достигши известного момента, определяемого многими обстоятельствами, но, во всяком случае, очень далекого от их математического предела, качественно перерождаются и в своей сложной комбинации создают то, что мы понимаем под именем социальной революции.

Начнем с последнего процесса—роста сознания. Он совершается, как известно, не в академиях, в которых пролетариат можно искусственно задержать в течение 50, 100, 500 лет, но в живущем полной жизнью капиталистическом обществе, на основе непрерывной классовой борьбы. Рост сознания пролетариата преобразует эту классовую борьбу, придает ей более глубокий, принципиальный характер и вызывает соответственную реакцию господствующих классов. Борьба пролетариата с буржуазией имеет свою логику, которая, все более и более обостряясь, доведет дело до развязки гораздо раньше, чем крупные предприятия начнут всецело господствовать во всех отраслях хозяйства.

Далее, само собой разумеется, что рост политического сознания, опирается на рост численности пролетариата,—при чем пролетарская диктатура, предполагает, что пролетариат достиг такой численности, что может преодолеть сопротивление буржуазной контр-революции. Это вовсе не значит, однако, что «подавляющее большинство», населения должно состоять из пролетариев, а «подавляющее большинство» пролетариата из сознательных социалистов. Во всяком случае, ясно, что сознательно-революционная армия пролетариата должна быть сильнее контр-революционной армии капитала; тогда как промежуточные, сомнительные или индифферентные слои населения должны находиться в таком положении, чтобы режим пролетарской диктатуры привлекал их на сторону революции, а не толкал в ряды ее врагов. Разумеется, политика пролетариата должна сознательно сообразоваться с этим.

Все это предполагает, в свою очередь, гегемонию индустрии над земледелием и преобладание города над деревней.

Попробуем рассмотреть предпосылки социализма в порядке убывающей общности и возрастающей сложности:

1) Социализм не есть только вопрос равномерного рас-

пределения, но и вопрос планомерного производства. Социалистическое, т.-е. кооперативное производство в больших размерах возможно лишь при условии такого развития производительных сил, которое делает крупное предприятие более производительным, чем мелкое. Чем выше перевес крупного предприятия над мелким, т. е. чем развитее техника, тем больше должны быть хозяйственные выгоды от социализации производства, тем выше, следовательно, должен быть культурный уровень всего населения при равномерном распределении, основанном на планомерном производстве.

Эта первая об'ективная предпосылка социализма имеется налицо уже давно: с тех пор, как общественное разделение труда привело к разделению труда в мануфактуре, еще в большей мере с тех пор, как мануфактура стала сменяться фабрикой, применяющей систему машин, — крупное предприятие становилось все более и более выгодным, а, значит, и социализация крупного предприятия должна была делать общество все более и более богатым. Ясно, что переход всех ремесленных мастерских в общую собственность всех ремесленников нисколько не обогатил бы их; тогда как переход мануфктуры в общую собственность ее частичных рабочих или переход фабрики в руки наемных производителей, или лучше сказать, переход всех средств крупного фабричного производства в руки всего населения, несомненно, поднял бы его материальный уровень и притом тем в большей степени, чем высшей ступени достигло крупное производство.

В социалистической литературе цитировалось предложение члена английской палаты общин Беллерса, который за сто лет до заговора Бабефа, именно в 1696 г., внес в парламент проект об организации кооперативных товариществ, самостоятельно удовлетворяющих всем своим потребностям. По вычислениям англичанина такой производительный коллектив должен был состоять из 200—300 человек. Мы не можем здесь заняться проверкой его выводов—да это для нас несущественно—важно лишь то, что коллективистское хозяйство, хотя бы только в размере 100, 200, 300 или 500 человек, представляло уже в конце XVII века производственные выгоды.

В начале XIX в. Фурье проектировал производительные ассоциации, фаланстеры, в 2.000—3.000 человек каждая. Расчеты Фурье никоим образом не отличались точностью; но, во всяком случае, развитие мануфактур-

ной системы к этому времени подсказывало ему уже несравненно более обширные размеры для хозяйственных коллективов, чем в приведенном выше размере. Ясно, однако, что ассоциации Джона Беллерса, так и фаланстеры Фурье, гораздо ближе по своему характеру к свободным хозяйственным общинам, о которых мечтают анархисты и утопичность которых состоит не в том, что они вообще «невозможны» или «противоестественны» (коммунистические общины Америки доказали, что они возможны), а в том, что они отстали от хода экономического развития на 100—200 лет.

Развитие об ественного разделения труда, с одной стороны, машинного производства, с другой, привело к тому, что в настоящее время единственный кооператив, который может использовать в широких размерах выгоды коллективистского хозяйства, это—государство. Да и в замкнутых границах отдельных государств социалистическое производство уже не могло бы вместиться — как по экономическим, так и по политическим причинам.

Атлантикус, немецкий социалист, не стоящий на точке зрения Маркса, вычислил в конце прошлого столетия экономические выгоды социалистического хозяйства в применении к такой единице, как Германия. Атлантикус меньше всего отличается полетом фантазии; его мысль вообще движется в колее хозяйственной рутины капитализма; он опирается на авторитетных писателей нынешней агрономии и технологии,—и в этом не только слабая, но и его сильная сторона, так как она, во всяком случае, обеспечивает его от неумеренного оптимизма. Так или иначе, Атлантикус приходит к выводу, что при целесообразной организации социалистического хозяйства, под условием использования технических средств середины 90-х годов XIX века, доход рабочего может быть увеличен вдвое или втрое, а рабочее время уменьшено до половины нынешнего размера.

Не нужно, разумеется, думать, что Атлантикус впервые доказал выгодность социализма: высшая производительность труда в крупных хозяйствах, с одной стороны, необходимость планомерности производства, доказываемая кризисами, с другой стороны, свидетельствовали о хозяйственных преимуществах социализма гораздо красноречивее, чем социалистическая бухгалтерия Атлантикуса. Его заслуга состоит лишь в том, что он выразил это преимущество в приблизительных цифровых отношениях.

Из всего сказанного мы имеем право сделать тот вывод, что если дальнейшее возрастание технического могущества человека делает социализм все более и более выгодным, то достаточные технические предпосылки для коллективистского производства—тех или иных размеров имеются уже в течение одного-двух столетий, а в настоящее время социализм технически выгоден не только в государственных, но в огромной мере и в мировых размерах.

Одних технических преимуществ социализма, однако, совершенно недостаточно для его осуществления. В течение XVIII и XIX веков крупное производство проявляло свои преимущества—не в социалистической, а в капиталистической форме. Ни проект Беллерса, ни проек Фурье не были осуществлены. Почему? Потому, что не нашлось в то время социальной силы, готовой и способной их осуществить.

2). Тут мы от производственно-технической предпосылки переходим к социально-экономической,—менее общей, но более сложной. Если бы мы имели дело не с антагонистическим классовым обществом, а с однородным товариществом, которое сознательно выбирает для себя систему хозяйства, тогда, несомненно, одних вычислений Атлантикуса было бы совершенно достаточно, чтобы приступить к социалистическому строительству. Сам Атлантикус, социалист очень вульгарного типа, так именно и смотрит на свой труд.

Такая точка зрения при настоящих условиях могла бы быть применима лишь в пределах частного хозяйства, единоличного или акционерного. Всегда можно предполагать, что любой проект хозяйственных реформ (введение новых машин, новых сырых материалов, иного распорядка работ, иной системы вознаграждения), будет принят владельцем, если только проект этот с несомненностью обнаруживает коммерческую выгодность реформы. Но поскольку мы имеем дело с общественным хозяйством, этого одного уже недостаточно. Тут борются враждебные интересы. Что выгодно одному, то невыгодно другому. Классовый эгоизм выступает не только против классового эгоизма, но и против выгод дела. Следовательно, для осуществления социализма, необходимо, чтобы в среде антагонистических классов капиталистического общества имелась налицо социальная сила, по своему об'ективному положению заинтересованная в осуществлении социализма, и, по своему могуществу, способ-

ная осуществить его, преодолев враждебные интересы и противодействия.

Одна из основных заслуг научного социализма состоит именно в том, что он теоретически открыл такую социальную силу в лице пролетариата и показал, что этот класс, неизбежно растущий вместе с капитализмом, может найти свое спасение только в социализме; что всем своим положением он толкается к социализму, и что доктрина социализма в капиталистическом обществе не может не стать, в конце концов, идеологией пролетариата.

Легко понять, поэтому, какой колоссальный шаг назад от марксизма делает Атлантикус, когда уверяет, что раз доказано, что «при переходе средств производства в руки государства не только может быть достигнуто всеобщее благосостояние, но еще сократится рабочее время, то совершенно безразлично, оправдывается ли теория концентрации капиталов, исчезновения промежуточных слоев населения, или нет».

Раз доказана выгодность социализма «тогда незачем, по мнению Атлантикуса, возлагает все свои надежды на фетиш хозяйственного развития, а следует предпринять обширные исследования и приступить (!) к всесторонней и тщательной подготовке перехода от частного к государственному или «общественному» производству» *).

Возражая против чисто оппозиционной тактики соц.-дем. и предлагая немедленно «приступить» к подготовке социалистического преобразования, Атлантикус забывает, что с.-дем. еще не имеет для этого необходимой власти, а Вильгельм II, Бюлов и большинство германского рейхстага, хотя и имеют в руках власть, но отнюдь не намерены приступать к проведению социализма. Социалистический проект Атлантикуса также мало убедителен для Гогенцоллернов, как проект Фурье для реставрированных Бурбонов,—хотя последний опирался в своем политическом утопизме на пламенную фантазию в области хозяйственного творчества, а Атлантикус—в своем, отнюдь не меньшем, политическом утопизме опирается на убедительную филистерски-трезвую бухгалтерию.

Каков же должен быть уровень социальной дифференциации для того, чтобы вторая предпосылка имелась на-

*) Атлантикус: «Государство будущего». Изд. «Дело». Спб. 1906 г. стр. 22, 23.

лицо? Иначе сказать, какова должна быть относительная численность пролетариата? Должен ли он составлять половину населения, две трети, или девять десятых?

Совершенно безнадежным предприятием было бы стремление наметить голые арифметические рамки этой второй предпосылки социализма. Прежде всего, при таком схематизме выступил бы вопрос, кого отнести к пролетариату: причислять ли к нему обширный слой полупролетариев-полукрестьян? Причислять ли резервные массы городских пролетариев, которые, с одной стороны, переходят в паразитический пролетариат нищих и воров, а, с другой, наполняют собою городские улицы в роли мелких торговцев, играющих паразитическую роль по отношению к хозяйственному целому? Этот вопрос далеко не так прост.

Значение пролетариата опирается всецело на его роль в крупном производстве. Буржуазия, в своей борьбе за политическое господство, опирается на свое экономическое могущество. Прежде чем она успевает взять в свои руки государственную власть, она сосредоточивает в своих руках средства производства страны; это и определяет ее удельный вес. Пролетариат же, вопреки кооперативистским фантасмогориям, вплоть до социалистической революции, будет лишен средств производства. Его социальное могущество вытекает из того, что средства производства, находящиеся в руках буржуазии, могут быть приведены в движение только им, пролетариатом. С точки зрения буржуазии пролетариат является также одним из средств производства, составляющим в соединении с другими единый цельный механизм; но пролетариат есть единственная не-автоматическая часть этого механизма, и несмотря на все усилия, ее нельзя довести до состояния автоматизма. Такое положение дает возможность пролетариату приостановить по своей воле правильное функционирование общественного хозяйства—в части или в целом (частные или общие стачки).

Отсюда ясно, что значение пролетариата—при одинаковой численности тем выше, чем большую массу производительных сил он приводит в движение: пролетарий крупной фабрики представляет—при прочих равных условиях—большую социальную величину, чем ремесленный рабочий, пролетарий города—большую величину, чем пролетарий деревни. Другими словами, политическая роль пролетариата тем значительнее, чем более крупное производство господствует

над мелким, индустрия—над земледелием, город—над деревней.

Если мы возьмем ту эпоху истории Германии или Англии, когда ее пролетариат составлял такую же долю нации, какую теперь составляет пролетариат России, то мы увидим, что он не только не играл, но по своему об'ективному значению и не мог играть той роли, какую теперь играет наш рабочий класс.

Это же самое, как мы видели, можно сказать относительно роли города. Когда городское население составляло в Германии лишь 15%, как у нас, тогда и речи не могло быть о такой роли германских городов в общей экономической и политической жизни страны, какую играют наши города. Сосредоточение крупных промышленных торговых учреждений в городах и соединение городов с провинцией системой железных дорог дали городам значение, далеко превосходящее простой об'ем населения, при чем рост их значения далеко обгонял рост численности их населения, в то время, как рост их жителей, в свою очередь, обгонял естественный прирост всего населения... Если в Италии в 48 году число ремесленников, не только пролетариев, но и самостоятельных хозяев, составляло около 15% всего населения, т. е. не меньше, чем ремесленников и пролетариев в нынешней России, то роль их была несравненно ниже роли русского промышленного пролетариата.

Из всего сказанного ясно, что предопределять, какую часть всего населения должен составить пролетариат к моменту завладения государственной властью, значит, заниматься бесплодной работой. Вместо этого, мы приведем несколько примерных данных, чтобы показать, какую часть населения составляет пролетариат в настоящее время в передовых странах. В 1895 г. в Германии из общего числа 20½ миллионов промыслового населения (не считая армии, государственных чиновников и лиц без определенных занятий) на долю пролетариата приходилось 12½ миллионов (считая наемных рабочих земледелия, индустрии, торговли, а также домашнюю прислугу); собственно земледельческих и промышленных рабочих насчитывалось 10¾ милл. Что касается остальных 8 милл. душ, то из них очень многие по существу являются пролетариями (домашняя индустрия, работающие члены семей и пр.). Число наемных рабочих только в земледелии охватывало 5¾ милл. Все сельское населе-

ние составляло около 36% населения страны. Эти цифры, повторяем, относятся к 1895 г. За протекшие 11 лет произошли, бесспорно, огромные изменения—и в общем, в одном направлении: отношение городского населения к сельскому увеличилось (в 1882 г. сельское население составляло 42%), увеличилось отношение всего пролетариата ко всему населению индустриального пролетариата—к сельскохозяйственному, наконец, на каждого индустриального пролетария приходится больше производительного капитала, чем в 1895 г. Но и данные 95 года показывают, что германский пролетариат давно уже составляет господствующую производительную силу страны.

Бельгия, с ее семимиллионным населением, представляет собою чисто индустриальную страну. На 100 лиц, занятых какой-либо профессиональной деятельностью, 41 приходится на долю промышленности в тесном смысле и лишь 21 на долю земледелия. На три слишком миллиона душ самодеятельного населения приходится около 1.800,000 душ пролетариата, т. е. около 60%. Эти числа стали бы еще красноречивее, если бы к резко дифференцированному пролетариату присоединить родственные ему социальные элементы: производителей, «самостоятельных», по форме, но в действительности закабаленных капиталом, мелких чиновников, солдат и т. п.

Но первое место в смысле индустриализации хозяйства и пролетаризации населения принадлежит бесспорно Англии. В 1901 г. число лиц, занятых в сельском и лесном хозяйстве и в рыболовстве составляло 2,3 миллиона, тогда как индустрия, торговля и транспорт охватывали 12,5 милл. душ. Таким образом, в главных европейских странах городское население главенствует над сельским по своей численности.

Но главенство его неизмеримо выше не только по массе представляемых им производительных сил, но и по его личному качественному составу. Город отвлекает к себе наиболее энергичные, способные и интеллигентные элементы деревни. Показать это статистически трудно. Хотя косвенное подтверждение этому дает возрастный состав городского и сельского населения, имеющий при том и самостоятельное значение. Так, в 1896 г. в Германии считалось 8 милл. человек, занятых в сельскохозяйственном производстве, и 8 милл. занятых в индустрии. Но если разбить население по возрастным группам, то окажется, что сельское хозяйство

уступает индустрии на миллион наиболее работоспособных сил в возрасте 14—40 лет. Это показывает, что в деревне остается преимущественно «старый да малый».

В результате всех приведенных выше соображений мы можем придти к тому выводу, что экономическая эволюция—рост индустрии, рост крупных предприятий, рост городов, рост пролетариата вообще и индустриального в особенности,—уже **подготовили** арену не только для **борьбы** пролетариата за государственную власть, но и для **завоевания** этой власти.

3). Тут мы переходим к третьей предпосылке социализма, к **диктатуре пролетариата**.

Политика—это та плоскость, где об'ективные предпосылки пересекаются с суб'ективными. На почве определенных технических, социально-экономических условий класс ставит себе сознательно определенную задачу—завоевание власти, об'единяет свои силы, взвешивает силы противника, оценивает обстоятельства.

Однако, и в этой третьей области пролетариат не абсолютно свободен. Кроме суб'ективных моментов,—сознательности, готовности, инициативы, которые тоже имеют логику своего развития, пролетариат сталкивается в своей политике с целым рядом об'ективных моментов, каковы: политика господствующих классов, существующие государственные учреждения (армия, классовая школа, государственная церковь), международные отношения и пр.

Остановимся, прежде всего, на суб'ективном моменте—подготовленности пролетариата к социалистическому перевороту.

Беспорно: недостаточно того, чтобы уровень техники делал социалистическое хозяйство выгодным с точки зрения производительности общественного труда. Недостаточно и того, чтобы развившаяся на основе этой техники социальная дифференциация создала пролетариат, как главный по численности и хозяйственной роли класс, об'ективно заинтересованный в социализме.

Нужно еще, чтобы этот класс **сознал** свой об'ективный интерес. Нужно, чтоб он понял, что для него нет выхода вне социализма, нужно, чтоб он сплотился в армию, достаточно могущественную для завоевания государственной власти в открытой борьбе.

Было бы в настоящее время нелепостью отрицать всю

кодимость такой подготовки пролетариата; только старые бланкисты могли надеяться на спасительную инициативу заговорщической организации, сложившейся независимо от масс, или их антиподы-анархисты могут надеяться на самопроизвольный стихийный взрыв масс, который неизвестно чем разрешится; социал-демократия говорит о завоевании власти, как о сознательном действии революционного класса.

Но многие социалисты-идеологи (идеологи в дурном смысле этого слова из тех, что все опрокидывают на голову) говорят о подготовке пролетариата к социализму в смысле его морального перерождения. Пролетариат и даже вообще «человечество» должно предварительно совлечь с себя свою старую эгоистическую природу, в общественной жизни должны получить преобладание побуждения альтруизма и пр. Так как в настоящее время мы еще очень далеки от такого состояния и так как «человеческая природа» изменяется крайне медленно, то наступление социализма отодвигается на ряд столетий. Такой взгляд кажется очень реалистическим, эволюционным и пр. Но на самом деле он весь создан из плоских моралистических соображений.

Предполагается, что социалистическая психология должна быть усвоена прежде, чем наступит социализм, другими словами, предполагается, что на основе капиталистических отношений возможно привить массам социалистическую психологию. Не нужно при этом смешивать сознательного стремления к социализму с социалистической психологией. Последняя предполагает отсутствие эгоистических побуждений в сфере экономической жизни; стремление же к социализму и борьба за него вытекает из классовой психологии пролетариата. Как ни много точек соприкосновения между классовой психологией пролетариата и бесклассовой социалистической психологией, но между ними еще целая пропасть.

Совместная борьба против эксплоатации порождает в душе рабочего прекрасные ростки идеализма, товарищеской солидарности, личного самоотречения,—но в то же время индивидуальная борьба за существование, вечно отверстая пасть нищеты, дифференциация в рядах самих рабочих, давление темных масс снизу, развращающая деятельность буржуазных партий — не позволяют этим прекрасным росткам развиться до конца.

Но суть в том, что даже будучи мещански-эгоистичным, не превышая своей «человеческой» ценностью средних представителей буржуазных классов, средний рабочий на опыте жизни убеждается, что его **примитивнейшие желания и естественнейшие потребности могут получить удовлетворение только на развалинах капиталистического строя.**

Идеалисты представляют себе то отдаленное будущее поколение, которое сподобится социализма, совершенно так же, как христиане представляют себе членов первых христианских общин.

Какова-бы ни была психология первых прозелитов христианства—из Деяний апостольских мы знаем, что бывали случаи утайки своего имущества от общины,—но, во всяком случае, христианство при дальнейшем своем распространении не только не переродило души своего народа, но само переродилось, материализировалось и бюрократизировалось, от братского наставничества перешло к папизму, от страннического нищенства—к монастырскому паразитизму, словом, не только не подчинило себе социальных условий той среды, в которой распространялось, но само подчинилось им. И это произошло не вследствие неловкости или корысти отцов и учителей христианства, а вследствие неотразимых законов зависимости человеческой психологии от условий общественного труда и существования. И эту зависимость показали на самих себе отцы и учителя христианства.

Если-бы социализм думал создать новую человеческую природу в рамках старого общества, он был бы только новым изданием моралистических утопий. Социализм ставит своей задачей не создание социалистической психологии, как предпосылки социализма, а создание социалистических условий жизни, как предпосылки социалистической психологии.

8. Рабочее правительство в России и социализм.

Выше мы показали, что об'ективные предпосылки социалистической революции уже созданы экономическим развитием передовых капиталистических стран. Но что можно в этом отношении сказать относительно России? Можно-ли ожидать, что переход власти в руки русского пролетариата будет началом преобразования нашего национального хозяйства на социалистических началах?

Год тому назад мы следующим образом отвечали на эти вопросы в статье, подвергшейся жестокому обстрелу со стороны органов обоих фракций нашей партии.

«Парижские рабочие,—говорит Маркс,—не требовали от Коммуны чудес. Нельзя ждать мгновенных чудес от диктатуры пролетариата и теперь. Государственная власть не всемогуща. Нелепо было бы думать, что стоит пролетариату получить власть—и он, путем нескольких декретов, заменит капитализм—социализмом. Экономический строй не есть продукт деятельности государства. Пролетариат сможет лишь со всей энергией применять государственную власть для того, чтоб облегчить и сократить путь хозяйственной эволюции, в сторону коллективизма.

«Пролетариат начнет с тех реформ, которые входят в так называемую программу минимум, и непосредственно от них самой логикой самого положения, вынужден будет переходить к коллективистской практике.

«Ввести восьмичасовой рабочий день и подоходный налог с быстро возрастающей прогрессией будет сравнительно простым делом, хотя и здесь центр тяжести лежит не в издании «акта», а в организации его практического проведения. Но главная трудность—и вот переход к коллективизму—будет состоять в организации производства за государственный счет в тех фабриках и заводах, которые будут закрыты владельцами в ответ на издание этих актов.

«Издать закон об уничтожении права наследства и провести этот закон на практике будет опять-таки сравнительно простым делом; наследства в форме денежного капитала тоже не затруднят пролетариата и не обременят его хозяйства. Но выступить наследником земельного и промышленного капитала, значит для рабочего государства взять на себя организацию хозяйства за общественный счет.

«То же самое, но в более широком об'еме, следует сказать об экспроприации, с выкупом или без выкупа. Экспроприация с выкупом представляет политические выгоды, но и финансовые затруднения: экспроприация без выкупа представляет финансовые выгоды, но политические затруднения. Но выше тех и других затруднений будут трудности хозяйственные, организаторские.

«Повторяем: правительство пролетариата не означает правительства чудес.

«Обобществление производства начинается с тех отрас-

лей, которые представят наименьшее затруднение. В первый период обобществленные производства будут представлять собой оазисы, связанные с частными хозяйственными предприятиями, законами товарного обращения. Чем шире будет поле, уже захваченное обобществленным хозяйством, тем очевиднее будут его выгоды, тем прочнее будет себя чувствовать новый политический режим, тем смелее будут дальнейшие хозяйственные мероприятия пролетариата. В этих мероприятиях он сможет и будет опираться не только на национальные производительные силы, но и на интернациональную технику, подобно тому, как в своей революционной политике он опирается не только на опыт национальных классовых отношений, но и на весь исторический опыт международного пролетариата».

Политическое господство пролетариата несовместимо с его экономическим рабством. Под каким бы политическим знаменем пролетариат ни оказался у власти, он вынужден будет стать на путь социалистической политики. Величайшей утопией нужно признать мысль, будто пролетариат, поднятый на высоту государственного господства, внутренней механикой буржуазной революции, сможет, если даже захочет, ограничить свою миссию созданием республиканско-демократической обстановки для социального господства буржуазии. Политическое господство пролетариата, хотя бы и временное, крайне ослабит сопротивление капитала, всегда нуждающегося в поддержке государственной власти, и придаст грандиозные размеры экономической борьбе пролетариата. Рабочие не смогут не требовать от революционной власти поддержки стачечников, и правительство, опирающееся на пролетариат, не сможет в такой поддержке отказать. Но это значит парализовать влияние резервной армии труда, сделать рабочих господами не только в политической, но и в экономической области, превратить частную собственность и средства производства в фикцию. Эти неизбежные социал-экономические последствия диктатуры пролетариата проявятся немедленно гораздо раньше, чем будет закончена демократизация политического строя. Грань между «минимальной» и «максимальной» программой стирается, как только у власти становится пролетариат.

Пролетарский режим на первых же порах должен будет приняться за разрешение аграрного вопроса, с которым связан вопрос о судьбе огромных масс населения России. В ре-

шении этого вопроса, как и всех других, пролетариат будет исходить из основного стремления своей экономической политики: овладеть как можно большим полем для организации социалистического хозяйства, причем формы и темп этой политики в аграрном вопросе должны определяться как теми материальными рессурсами, которыми сможет овладеть пролетариат, так и необходимостью располагать свои действия так, чтоб не отталкивать в ряды контр-революционеров возможных союзников.

Само собой разумеется, что аграрный вопрос, т. е. вопрос о судьбе земледельческого хозяйства и его общественных отношений, вовсе не покрывается Земельным вопросом, т. е. вопросом о формах земельной собственности. Но несомненно, что решение земельного вопроса, если и не предрешит аграрной эволюции, то предрешит аграрную политику пролетариата; другими словами, то назначение, которое пролетарский режим даст земле, должно быть связано с его общим отношением к ходу и потребностям сельско-хозяйственного развития. Поэтому земельный вопрос станет в первую очередь.

Одно из решений, которому социалисты-революционеры придали далеко не безупречную популярность, это социализация всей земли; будучи освобождена от европейского грима, она означает не что иное, как «уравнительное землепользование» или Черный Передел. Программа уравнительного передела предполагает, таким образом, экспроприацию всех земель—не только частновладельческих вообще, не только частновладельческих-крестьянских, но и общинных. Если принять во внимание, что эта экспроприация должна быть проведена с первых шагов нового режима, при полном еще господстве товарно-капиталистических отношений, то окажется, что первыми «жертвами» экспроприации окажутся или, вернее, почувствуют себя крестьяне. Если принять во внимание, что крестьяне в течение нескольких десятилетий выплачивали выкупные платежи, которые должны были превратить надельную землю в их собственность; если принять во внимание, что отдельные более зажиточные крестьяне, несомненно, при помощи больших жертв, принесенных еще живущим поколением, приобрели в собственность огромную площадь земли, то легко себе представить, какое сопротивление вызовет отчуждение общинных и мелких частновладельческих участков в государственную собственность. Идя та-

ким путем, новый режим начал бы с того, что восстановил бы против себя огромные массы крестьянства.

Во имя чего общинные и мелкие собственнические участки будут превращены в государственную собственность? Чтоб тем или другим путем предоставить ее для «уравнительной» хозяйственной эксплоатации всем землевладельцам, в том числе и нынешним безземельным крестьянам и батракам. Таким образом, в хозяйственном отношении новый режим ничего не выиграет от экспроприации мелких и общинных участков, так как и после передела, государственная или общественная земля поступит в частно-хозяйственную обработку. В политическом же отношении новый режим сделает величайший промах, так как сразу враждебно противопоставит крестьянскую массу городскому пролетариату, как руководителю революционной политики.

Далее. Уравнительное распределение предполагает законодательное воспрещение применения наемного труда. Уничтожение наемного труда может и должно быть следствием хозяйственных реформ, но не может быть предрешено юридическими запретами. Недостаточно запретить земледельцу-капиталисту нанимать рабочих, нужно предварительно создать для безземельных батраков возможность существования—притом существования рационального с общественно-хозяйственной точки зрения. Между тем, при программе уравнительного землепользования воспретить применение наемного труда, значит, с одной стороны, обязать безземельных батраков сесть на клочек земли, с другой стороны, для государства, значит, обязаться снабдить этого батрака необходимым инвентарем для его общественно-нерационального производства.

Разумеется, вмешательство пролетариата в организацию сельского хозяйства начнется не с прикрепления разрозненных работников к разрозненным клочкам земли, а с эксплоатации крупных имений за государственный или коммунальный счет.

Только в том случае, если такое обобществленное производство станет прочно на ноги, процесс дальнейшей социализации сможет быть двинут вперед воспрещением применения наемного труда. Этим путем сделается невозможным мелкое капиталистическое земледелие, но останется еще поле для продовольственных и полу-продовольственных хозяйств, на-

сильственная экспроприация которых никои образом не входит в планы социалистического пролетариата.

Во всяком случае, пролетариат никоим образом не сможет принять к руководству программу «уравнительного распределения, которая, с одной стороны, предполагает бесцельную, чисто формальную экспроприацию мелких собственников, с другой стороны, требует вполне реального раздробления крупных имений на мелкие части. Такая политика, будучи непосредственно хозяйственно-расточительной, имела бы в своей основе реакционно-утопическую заднюю мысль и сверх всего политически ослабила бы революционную партию.

Но как далеко может зайти социлистическая политика рабочего класса в хозяйственных условиях Росси? Можно одно сказать с уверенностью: она натолкнется на политические препятствия гораздо раньше, чем упрется в техническую отсталость страны. **Без прямой государственной поддержки европейского пролетариата рабочий класс России не сможет удержаться у власти и превратить свое временное господство в длительную социалистическую диктатуру.** В этом нельзя сомневаться ни одной минуты. Но, с другой стороны, нельзя сомневаться и в том, что социалистическая революция на Западе позволит нам непосредственно и прямо превратить временное господство рабочего класса в социалистическую диктатуру.

В 1904 г., рассуждая о перспективах социального развития и считаясь с близкой возможностью революции в России, Каутский писал: «Революция в России не могла бы немедленно установить социалистический режим. Для этого экономические условия страны еще далеко не зрелы». Но русская революция должна будет дать сильный толчек пролетарскому движению остальной Европы, и, в результате разгоревшейся борьбы, пролетариат может занять господствующее положение в Германии». Такой исход,—продолжает Каутский,—должен будет оказать влияние на всю Европу, должен будет повлечь за собой политическое господство пролетариата в Западной Европе и создать восточно-европейскому прлетариату возможность сократить стадии своего развития и, подражая немецкому примеру, искусственно создать социалистические учреждения. Общество в целом не может искусственно перескочить через отдельные стадии развития, но это возможно для его отдельных составных частей, которые

могут ускорить свое отсталое развитие подражанием передовым странам и, благодаря этому, даже стать во главе развития, потому что они не обременены баластом традиций, который тащут с собой старые нации. Это может случиться,— пишет далее Каутский,— но как уже сказано, мы здесь уже оставили область поддающейся изучению необходимости, здесь мы находимся уже в области возможного. Поэтому все может произойти и иначе» *).

Эти строки теоретик немецкой социал-демократии писал в то время, когда для него стояло еще под вопросом, возникнет ли революция раньше в России или на Западе.

После того русский пролетариат проявил такую колоссальную силу, какой не ожидали от него наиболее оптимистически настроенные русские социал-демократы. Ход российской революции определился в своих основных чертах. То что два-три года тому назад было или казалось возможностью стало близкой вероятностью, и все говорит за то, что эта вероятность готова стать необходимостью.

9. Европа и революция.

В июне 1905 года мы писали:

«После 48 года прошло больше полустолетия. Полвека непрестанных завоеваний капитализма во всем мире. Полвека «органического» взаимоприспособления сил буржуазной реакции и сил реакции феодальной. Полвека, в течение которого буржуазия обнажила свою бешеную жажду господства и свою готовность бешено бороться за него!

«Как фантаст-механик в погоне за perpetuum mobile натыкается на все новые и новые препятствия и нагромождает механизм на механизм для их преодоления, так буржуазия изменяла и перестраивала аппарат своего господства, избегая «внеправовых» столкновений с враждебной ей силой. Но, как самоучка-механик, в конце концов, наталкивается на последнее непреодолимое препятствие: закон сохранения энергии, так буржуазия должна натолкнуться на последнюю неумолимую преграду: классовый антагонизм, неизбежно разрешившийся столкновением.

«Навязывая всем странам способ своего хозяйства и своих

*) К. Каутский. «Революционные перспективы». Киев. 1906 г.

сношений, капитализм превратил весь мир в один экономический и политический организм. Подобно тому, как современный кредит, связывающий тысячи предприятий невидимой связью и придающий изумительную подвижность капиталу, устраняет многие мелкие частные крахи, но вместе с тем придает небывалый размах общим хозяйственным кризисам, так и вся экономическая и политическая работа капитализма, с его мировой торговлей, системой чудовищных государственных долгов и политическими группировками стран, вовлекшая все реакцинные силы в одно всемирное товарищество на паях, не только противодействовала всем частным политическим кризисам но и подготовила базу для социального кризиса неслыханных размеров. Вгоняя внутрь все болезненные процессы, обходя все трудности, отодвигая все глубокие вопросы внутренней и международной политики, затушевывая все противоречия, буржуазия отдаляла развязку, подготовляя тем самым радикальную мировую ликвидацию своего господства. Она жадно цеплялась за всякую реакционную силу, не справляясь об ее происхождении. Папа и султан были не последними из ее друзей. Она не связывала себя узами «дружбы» с китайским богдыханом только потому, что он не представлял собой силы: буржуазии было выгоднее расхищать его владения, чем содержать его на должности всемирного жандарма, оплачивая его расходы из своих сундуков. Таким образом, мировая буржуазия поставила устойчивость своей государственной системы в глубокую зависимость от устойчивости до-буржуазных оплотов реакции.

«Это с самого начала придает развертывающимся событиям интернациональный характер и открывает величайшую перспективу: политическое раскрепощение, руководимое рабочим классом России, поднимает руководителя на небывалую в истории высоту, передает в его руки колоссальные силы и средства и делает его инициатором мировой ликвидации капитализма, для которой история создала все об'ективные предпосылки» *).

Если российский пролетариат, временно получивши в свои руки власть, не перенесет по собственной инициативе

*) См. мое предисловие к «Речи перед судом присяжных» Ф. Лассаля. Изд. Молот.

революцию на почву Европы, его вынудит к этому европейская феодально-буржуазная реакция.

Разумеется, было бы праздным делом предопределять теперь те пути, какими русская революция перебросится в старую капиталистическую Европу: эти пути могут оказаться совершенно неожиданными. Скорее для иллюстрации мысли, чем в виде предсказания мы остановимся на Польше, как на соединительном звене между революционным Востоком и революционным Западом.

Торжество революции в Росси означает неизбежно победу революции в Польше. Не трудно себе представить, что революционный режим в десяти польских губерниях русского захвата, неизбежно поставит на ноги Галицию и Познань. Правительства Гогенцоллерна и Габсбурга ответят на это тем, что стянут военные силы к польской границе, чтобы затем перешагнуть через нее и раздавить врага в его центре— Варшаве. Ясно, что русская революция не сможет оставить в руках прусско-австрийской солдатчины свой западный авангард. Война с правительствами Вильгельма II и Франца Иосифа станет при таких условиях законом самосохранения для революционного правительства России. Какое положение займет при этом германский и австрийский пролетариат? Ясно, что он не сможет оставаться спокойным наблюдателем контр-революционного крестового похода своих национальных армий. Война феодально-буржуазной Германии против революционной Росси означает неизбежно пролетарскую революцию в Германии. Кому такое утверждение покажется слишком категорическим, тому мы предложим представить себе другое историческое событие, которое более было бы способно толкнуть германских рабочих и германскую реакцию на путь открытого соразмерения сил.

Когда наше октябрьское министерство неожиданно об'явило Польшу на военном положении, распространились весьма правдоподобные слухи, что это сделано по прямому приказанию из Берлина. Накануне разгона Думы, правительственная газета, в форме угрозы, сообщила о переговорах берлинского и венского правительств на счет вооруженного вмешательства во внутренние дела России с целью подавления смуты. Никакие министерские опровержения не могли затем изгладить потрясающего впечатления этого сообщения. Было ясно, что во дворцах трех соседних стран подготовляется кровавая контр-революционная расправа. Да и могло

быть иначе? Могут ли соседние полуфеодальные монархии пассивно смотреть, как пламя революции лижет границы их владений?

Еще далекая от победы русская революция через Польшу уже успела отразиться в Галиции. «Кто год тому назад мог предвидеть то, что сейчас происходит в Галиции!—воскликнул Дашинский в мае этого года на львовском с'езде польской социал-демократии,—это величественное крестьянское движение, приведшее в изумление всю Австрию! Зборац избирает социал-демократа вице-маршалом окружного совета Крестьяне редактируют для крестьян социалистически-революционную газету и называют ее «Красное Знамя», собираются тридцатитысячные крестьянские митинги, шествия с красными знаменами и революционными песнями тянутся по галицийским деревням, до сих пор таким спокойным, таким апатичным... Что будет, когда до этих нищих-крестьян дойдет из России клич национализации земли!».

Больше двух лет тому назад, в своей полемике с польским социалистом Люсней, Каутский доказывал, что теперь нельзя уже видеть в Росси ядро на ногах Польши, а эту последнюю рассматривать, как восточный отряд революционной Европы, врезавшийся в степи московского варварства. В случае развития и победы русской революции «польский вопрос, по словам Каутского, снова обострится, но не в том смысле, как думает Люсня; его шипы будут направлены не против России, а против Австрии и Германии и, поскольку Польша будет служить делу революции, ей придется защищать революцию не от России, а из России нести ее в Австрию и Германию». Это предсказание оказывается теперь гораздо ближе к осуществлению, чем мог думать сам Каутский.

Но революционная Польша вовсе не единственный возможный исходный пункт европейской революции. Выше мы уже сказали, что буржуазия систематически уклонялась в течение ряда десятилетий от разрешения сколько-нибудь сложных и острых вопросов не только внутренней, но и внешней политики. Ставя под ружье колоссальные массы людей, буржуазные правительства не имеют, однако, решимости разрубать запутанные вопросы международной политики мечем. Посылать сотни тысяч людей в огонь может либо правительство, чувствующее за собой поддержку нации, затронутой в своих жизненных интересах, либо правительство,

потерявшее всякую почву под ногами и охваченное мужеством отчаяния. Только глубокая уверенность и только безумный азарт могут в современных условиях политической культуры и военной техники, всеобщего избирательного права и всеобщей воинской повинности, толкнуть две нации друг на друга. В прусско-французской войне 1870 года мы видим на одной стороне Бисмарка, который борется за пруссифицирование, т. е. все же за национальное об'единение Германии,—элементарную потребность, которую чувствовал каждый немец; на другой стороне—правительство Наполеона III, наглое, бессильное, презираемое народом, готовое на всякую авантюру, которая могла бы обещать в результате еще двенадцать месяцев жизни. Таким же образом распределились роли и в русско-японской войне: с одной стороны, правительство Микадо, которое борется за власть японского капитала над Восточной Азией и которому не противостоит еще сильный революционный пролетариат, с другой стороны, пережившее себя самодержавное правительство, которое стремилось внешними победами искупить свои внутренние поражения.

В старых капиталистических странах нет таких «национальных» потребностей, т. е. потребностей **всего буржуазного общества в целом**, носительницей которых являлась бы правящая буржуазия. Правительства Англии, Франции, Германии или Австрии не способны уже вести национальные войны. Жизненные нужды народных масс, интересы угнетенных национальностей или варварская внутренняя политика соседней страны неспособны толкнуть ни одно из буржуазных правительств на путь войны, которая в этом случае имела бы освободительный и потому национальный характер. С другой стороны, интересы капиталистического хищничества, которые так часто заставляют то одно, то другое правительство на глазах всего мира примеривать шпоры и точить меч, совершенно неспособны вызвать сочувственный отклик в народных массах. Таким образом, буржуазия либо не может, либо не хочет вызвать и провести национальную войну. К чему приводят в современных условиях антинациональные войны, это в последнее время показали два опыта: один на юге Африки, другой—на востоке Азии.

Парламентский разгром империалистского консерватизма в Англии не в последней мере обязан уроку англо-бурской войны; другим, гораздо более важным, и угрожающим

английской буржуазии последствием империалистической политики является политическое самоопределение английского пролетариата, которое, раз начавшись, пойдет вперед семимильными шагами. О последствиях русско-японской войны для петербургского правительства напоминать не приходится. Но и без этих двух последних опытов европейские правительства с тех пор, как пролетариат встал на ноги, все более страшатся ставить его пред диллемой: война или революция. Именно страх пред восстанием пролетариата заставляет буржуазные партии, вотирующие чудовищные суммы на военные расходы, торжественно манифистировать в пользу мира, мечтать о международных примирительных камерах, даже об организации Соединенных Штатов Европы— жалкая декламация, которая не может, разумеется, устранить ни антагонизма государства, ни вооруженных столкновений.

Вооруженный мир, установившийся в Европе после франко-прусской войны, опирался на систему европейского равновесия, которая предполагала не только неприкосновенность Турции, расчленение Польши, сохранение Австрии, этой этнографической мантии арлекина, но и существование русского деспотизма в роли вооруженного до зубов жандарма европейской реакции. Русско-японская война нанесла жестокий удар искусственно-сохранявшейся системе, в которой самодержавие занимало первенствующее положение. Россия оказалась не неопределенное время вычеркнутою из так называемого концерта держав. Равновесие нарушилось. С другой стороны, успехи Японии разожгли завоевательные инстинкты капиталистической буржуазии. Возможность войны на европейской территории выросла в огромной степени. Конфликты назревают здесь и там, и если и до сегодняшнего дня они улаживались дипломатическими средствами, то ничто не обеспечивает завтрашнего дня. Но европейская война неизбежно означает европейскую революцию.

Уже во время русско-японской войны социалистическая партия Франции заявила, что в случае вмешательства французского правительства в пользу самодержавия, она призовет пролетариат к самым решительным мерам — вплоть до восстания. В марте 1906 г., когда назревал франко-германский конфликт по поводу Марокко, интернациональное социалистическое бюро постановило в случае опасности войны «установить для всей интернациональной социалистической пар-

тии и всего организованного рабочего класса метод действия, наиболее пригодный для предупреждения и пресечения войны». Разумеется, это только резолюция. Чтобы проверить ее действительное значение, нужна война. У буржуазии есть все основания избегать этого опыта. Но, к несчастью для нее, логика международных отношений сильнее логики дипломатов.

Государственное банкротство России, будет ли оно вызвано затянувшимся хозяйничаньем бюрократии, будет ли оно об'явлено революционным правительством, которое не захочет отвечать за грехи старого режима,—государственное банкротство России страшным сотрясением отразится во Франции. Радикалы, в руках которых теперь политические судьбы Франции, вместе с властью взяли на себя все охранительные функции, в том числе заботу об интересах капитала. Есть поэтому серьезные основания предполагать, что финансовый крах, вызванный банкротством России, непосредственно превратится во Франции в острый политический кризис, который закончится лишь с переходом власти в руки пролетариата. Так или иначе—через посредство революционной Польши, вследствие европейской войны или как результат государственного банкротства России—революция перебросится на территорию старой капиталистической Европы.

Но и без внешнего давления таких событий, как война или банкротство, революция может в ближайшем будущем возникнуть в одной из европейских стран в результате крайнего обострения классовой борьбы. Мы не станем здесь строить предположений о том, какая из европейских стран выступит на путь революции в первую очередь; но, несомненно, что классовые противоречия во всех странах достигли за последние годы высокой степени напряжения.

В Германии колоссальный рост социал-демократии в рамках полуабсолютистской конституции с железной необходимостью ведет пролетариат к открытому столкновению с феодально-буржуазной монархией. Вопрос об отпоре государственному перевороту посредством всеобщей стачки стал за последний год центральным вопросом политической жизни германского пролетариата. Во Франции переход власти к радикалам решительно развязывает руки пролетариату; связанные в течение долгого времени сотрудничеством с буржуазными партиями в деле борьбы с национализмом и

клерикализмом, социалистический пролетариат, богатый неумирающими традициями четырех революций, и консервативная буржуазия под партийной маской радикализма, стоят лицом к лицу. В Англии, где в течение целого столетия две буржуазные партии правильно раскачивались на качелях парламентаризма, начался в самое последнее время, под влиянием целого ряда причин, процесс политического обособления пролетариата. Если в Германии этот процесс потребовал четырех десятилетий, то английский рабочий класс, обладающий могучими профессиональными союзами и богатым опытом экономической борьбы, может в несколько скачков догнать армию континентального социализма.

Влияние русской революции на европейский пролетариат огромно. Помимо того, что она разрушает петербургский абсолютизм, главную силу европейской реакции, она создает, кроме того, необходимые революционные предпосылки в сознании и настроении европейского рабочего класса.

Задача социалистической партии состояла и состоит в том, чтобы революционизировать сознание рабочего класса, как развитие капитализма революционизировало социальные отношения. Но агитационная и организационная работа в рядах пролетариата имеет свою внутреннюю косность. Европейские социалистические партии—и в первую голову наиболее могучая из них, германская—выработали свой консерватизм, который тем сильнее, чем большие массы захватывает социализм и чем выше организованность и дисциплина этих масс. В силу этого социал-демократия, как организация, воплощающая политический опыт пролетариата, может стать в известный момент непосредственным препятствием на пути открытого столкновения рабочих с буржуазной реакцией. Другими словами, пропагандистско-социалистический консерватизм пролетарской партии может в известный момент задерживать прямую борьбу пролетариата за власть. Огромное влияние русской революции сказывается в том, что она убивает партийную рутину, разрушает консерватизм и ставит на очередь дня вопросы открытого соразмерения сил пролетариата и капиталистической реакции. Борьба за всеобщее избирательное право в Австрии, Саксонии и Пруссии обострилась под прямым влиянием октябрьской стачки в

России. Восточная революция заражает западный пролетариат революционным идеализмом и рождает в нем желание заговорить с врагами «по-русски».

Российский пролетариат, оказавшись у власти, хотя бы лишь вследствии временной кон'юнктуры нашей буржуазной революции, встретит организованную вражду со стороны мировой реакции, и готовность к организованной поддержке со стороны мирового пролетариата. Предоставленный своим собственным силам рабочий класс России будет неизбежно раздавлен контр-революцией в тот момент, когда крестьянство отвернется от него. Ему ничего другого не останется, как связать судьбу своего политического господства и, следовательно, судьбу всей российской революции с судьбой социалистической революции в Европе. Ту колоссальную государственно-политическую силу, которую дает ему временная кон'юнктура российской буржуазной революции, он обрушит на чашу весов классовой борьбы всего капиталистического мира. С государственной властью в руках, с контр-революцией за спиной, с европейской реакцией пред собой, он бросит своим собратьям во всем мире старый призывный клич, который будет на этот раз кличем последней атаки: Пролетарии всех стран, соединяйтесь!..

Борьба за власть *).

Перед нами программно-тактический листок: «Задача российского пролетариата. Письмо к товарищам в Россию». Под этим документом подписи: П. Аксельрод, Астров А. Мартынов, Л. Мартов, С. Семковский.

Проблема революции поставлена в «Письме» крайне общие, ясность и определенность анализа исчезают по мере того, как авторы переходят от характеристики положения созданного войной, к политическим перспективам и тактическим выводам; самые термины становятся расплывчатыми, социальные определения—двусмысленными.

Во внешнем состоянии России господствуют, на первый взгляд, два настроения: во-первых, забота о национальной обороне (от Романова до Плеханова), во-вторых, всеобщее

*) Из газеты: «Наше Слово». Париж, 17 октября 1915 г.

недовольство: от оппозиционно-бюрократической фронды до уличных мятежных вспышек. Эти два господствующие настроения и создают иллюзию о будущей народной свободе, которая вырастет из дела национальной обороны. Но этими же настроениями определяется в значительной мере и неопределенность постановки вопроса о «народной революции», даже когда она противопоставляется делу «национальной обороны»:

Сама по себе война, с ее поражениями, не создала ни революционной проблемы, ни революционных сил для ее разрешения. Мы вовсе не начинаем историю со сдачи Варшавы баварскому принцу. И революционные противоречия, и социальные силы, те же, с какими мы впервые столкнулись настоящим образом в 1905 году,—с теми очень значительными изменениями, какие внесло последовавшее десятилетие. Война только с механической наглядностью обнаружила об'ективную несостоятельность режима. Вместе с тем она внесла в общественное сознание сумятицу, в которой «все» кажутся зараженными стремлением дать отпор Гинденбургу и в то же время ненавистью к режиму 3 го июня. Но как организация «народной войны» натыкается на первых же шагах своих на царскую полицию и обнаруживается, что Россия 3-го июня есть факт, а «народная война»—фикция, так самый приступ «к народной революции» наталкивается у самого порога на социалистическую полицию Плеханова, которого можно было бы, правда, со всей его свитой, счесть фикцией, если бы за ним не стояли Керенский, Милюков, Гучков, вообще нереволюционная и антиреволюционная национал-демократия и национал-либерализм.

«Письмо» не может, разумеется, игнорировать классовое расчленение нации, которая должна посредством революции спасать себя от последствий войны и нынешнего режима. «Националисты и октябристы, прогрессисты, кадеты, промышленники и даже часть (!) радикальной интеллигенции, крича в один голос о неспособности бюрократии защищать страну, требуют мобилизации общественных сил для дела обороны»... Письмо совершенно правильно делает вывод об антиреволюционном характере этой позиции, которая предполагает «об'единение на деле обороны государства с нынешними правителями России—ее бюрократами, дворянами и генералами». Антиреволюционная позиция, по правильному опять-таки указанию письма, характеризует «буржуаз-

ных патриотов всех оттенков», как и социал-патриотов, при-бавим от себя, о которых письмо не говорит ни одно-го слова.

Отсюда приходится сделать вывод, что социал-демокра-тия является не просто наиболее последовательной партией революции, а единственной революционной партией в стра-не; что рядом с ней стоят не просто менее решительные в применении революционных методов группировки, а партии нереволюционные. Другими словами, что социал-демокра-тия со своей революционной постановкой задач совершенно изолирована на политической арене, несмотря на «всеобщее недовольство». Это первый вывод, в котором нужно отдать себе самый ясный отчет.

Разумеется, партии еще не классы. Между позицией партии и интересами социального строя, на который она опирается, может быть несоответствие, и оно может разверг-нуться позже в глубокое противоречие. Поведение самих партий может изменяться под влиянием настроения народ-ных масс. Это бесспорно. Но, в таком случае, нам тем более нужно, в наших рассчетах, апеллировать от менее устойчи-вых и надежных элементов, как лозунги и тактические шаги партий, к более устойчивым историческим факторам: к со-циальному строению нации, соотношению классовых сил, тенденциям развития.

Между тем авторы «Письма» совершенно обходят эти вопросы. Что такое народная революция» в России 1915 г., об этом они нам говорят только, что ее «должны» совершить пролетариат и демократия. Что такое пролетариат, мы знаем. Но что такое «демократия»? Политическая партия? Из пред-шествующего видно, что нет. Тогда народные массы? Ка-кие? Очевидно, мелкая промышленная торговая буржуазия, интелигенция, крестьянство,—речь может идти только о них.

В ряде статей «Военный кризис и политические перспек-тивы» мы дали общую оценку возможного революционно-го значения этих социальных сил. Исходя из опыта прошлой революции, мы расследовали какие поправки в соотношении сил 1905 года внесло последнее десятилетие: за демократию (буржуазную) или против нее? Это центральный истори-ческий вопрос при обсуждении перспектив революции и так-тики пролетариата: усилилась ли в России после 1905 года, буржуазная демократия, или еще более пала? Вокруг во-проса о судьбах буржуазной демократии шли у нас все ста-

рые споры, и кто до сих пор не имеет на этот вопрос ответа, тот бродит в потемках. Мы дали ответ на этот вопрос: национальная буржуазная революция в России невозможна за отсутствием подлинно-революционной буржуазной демократии. Время национальных революций прошло—по крайней мере для Европы—так же, как и время национальных войн. Между теми и другими—глубокая внутренняя связь. Мы живем в эпоху империализма: это не только система колониальных захватов, но и определенный внутренний режим. Он противопоставляет не буржуазную нацию старому режиму, а пролетариат—буржуазной нации.

Ремесленная и торговая мелкая буржуазия уже в революции 1905 года играла ничтожную роль. За протекшее десятилетие социальное значение этого слоя бесспорно еще более пало: капитализм расправляется у нас с промежуточными классами несравненно более жестоко и радикально, чем в странах старой экономической культуры.

Интеллигенция, несомненно, численно возросла. Возросла также и ее хозяйственная роль. Но вместе с тем окончательно исчезла и былая призрачная «независимость»: социальное значение интеллигенции целиком определяется ее ролью в организации капиталистического хозяйства и буржуазного общественного мнения. Материальная связь с капитализмом пропитала ее насквозь империалистическими тенденциями. Как мы уже слышали, письмо говорит: «даже часть радикальной интеллигенции... требует мобилизации общественных сил для дела обороны».

Это совершенно неверно. Не часть радикальной интеллигенции, а вся радикальная интеллигенция. Следовало бы сказать: не только вся радикальная, но даже значительная, если не значительнейшая часть социалистической интеллигенции. Прикрашивая характер интеллигенции, мы вряд ли увеличим кадры «демократии».

Итак, промышленная и торговая буржуазия пала еще больше, интеллигенция покинула революционные позиции. О городской демократии, как о революционном факторе говорить не приходится. Остается крестьянство. Но насколько мы знаем, ни Аксельрод, ни Мартов никогда не питали преувеличенных надежд на его революционную роль. Пришли ли они к выводу, что за протекшее десятилетие непрерывной дифференциации в среде крестьянства эта роль воз-

росла? Такое предположение шло бы явно наперекор и теоретическим соображениям и всему историческому опыту.

Но тогда о какой же «демократии» говорит письмо? И в каком смысле—о народной революции?

Лозунг учредительного собрания предполагает революционную ситуацию. Есть ли она? Есть. Но только она меньше всего определяется тем, будто в России народилась, наконец, буржуазная демократия, которая теперь готова и способна свести счеты с царизмом. Наоборот, если нынешняя война, что вскрыла с полной очевидностью, так именно отсутствие революционной демократии в стране.

Попытка третье-июньской России разрешить внутреннюю революционную проблему на пути империализма, потерпела очевидный крах. Это не значит, что ответственные или полуответственные третьеиюньские партии станут на путь революции. Но это значит, что обнаженная военной катастрофой революционная проблема, которая и в дальнейшем будет гнать правящих на путь империализма, удваивает сейчас значение единственного революционного класса в стране.

Третье-июньский блок расшатан. Внутри его трения и борьба. Это значит, что октябристы и кадеты поставят перед собой революционную проблему власти и пойдут на штурм бюрократии и об'единенного дворянства. Но это значит, что сила сопротивления режима революционному натиску на известный период, несомненно, ослабела.

Монархия и бюрократия скомпрометированы. Это не значит, что они сдадут без боя власть. Роспуском Думы и последними министерскими переменами они показали кому надо, что до этого еще очень далеко. Но политика бюрократической неустойчивости, которая еще только будет возрастать, должна чрезвычайно облегчить социал-демократии революционную мобилизацию пролетариата.

Народные низы, городские и сельские, чем дальше, тем больше будут истощены, обмануты, недовольны, ожесточены. Это не значит, что рядом с пролетариатом будет действовать самостоятельная сила революционной демократии. Для нее нет ни социального матерьяла, ни руководящего персонала. Но это, несомненно, значит, что атмосфера глубокого недовольства народных низов должна облегчить революционный натиск рабочего класса. Чем меньше пролетариат будет выжидать появления буржуазной демократии,

чем меньше будет он приспособляться к пассивности и ограниченности мелкой буржуазии и крестьянства, чем решительнее и непримиримее будет его борьба, чем очевиднее будет для всех его готовность идти «до конца», то-есть до завоевания власти, тем больше у него будет шансов увлечь за собой в решительную минуту и непролетарские народные массы. Одними лозунгами, как конфискация земли и проч., тут, конечно, ничего не сделаешь. Это в еще большей степени относится и к армии, с которой стоит и падает государственная власть. Армия тогда только в массе своей склоняется на сторону революционного класса, когда убеждается, что он не просто будирует и демонстрирует, а борется за власть и имеет шансы захватить ее.

Есть в стране об'ективная революционная проблема—проблема государственной власти,—остро вскрытая войной и поражениями. Есть прогрессирующая дезорганизованность правящих. Есть возрастающее недовольство городских и сельских масс. Но революционным фактором, который может использовать эту ситуацию, является только пролетариат,—сейчас в несравненно большей степени, чем в 1905 году.

«Письмо» в одной фразе как бы подходит к этому центральному узлу всей проблемы. Оно говорит, что русские рабочие—социал-демократы должны встать «во главе всенародной борьбы за свержение третьеиюньской монархии». Что может означать «всенародная» борьба, мы только что сказали. Но, если в приведенной фразе слова «во главе» надлежит понимать не просто в том смысле, что передовые рабочие должны великодушнее всех проливать свою кровь, не отдавая себе ясного отчета в том, что собственно из этого выйдет, а в том смысле, что они должны взять на себя политическое руководство всей борьбой, которая будет прежде всего борьбой самого пролетариата, то ясно, что победа в этой борьбе должна передать власть тому, кто руководил борьбой, то-есть социал-демократическому пролетариату.

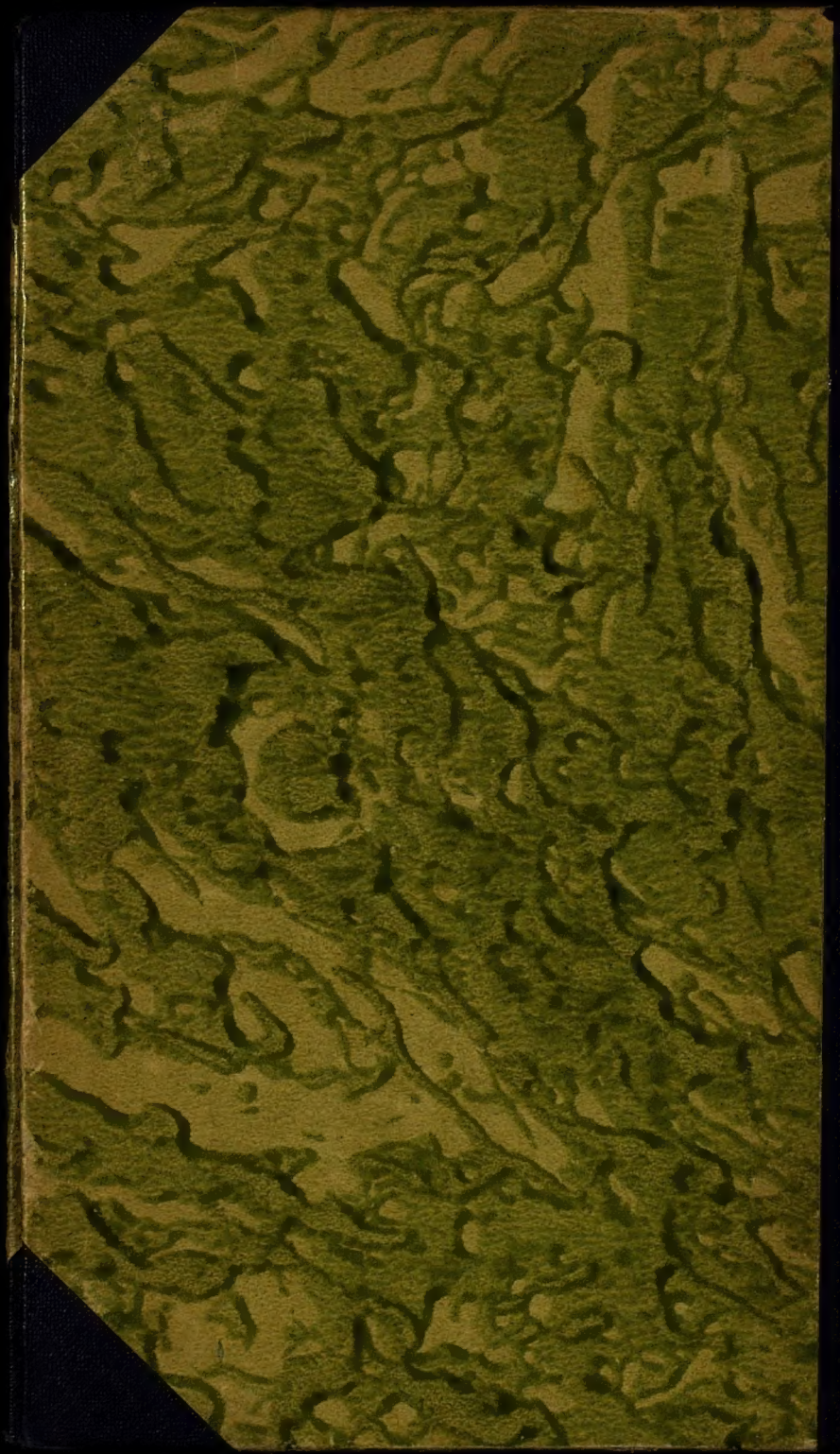
Вопрос идет, стало-быть, не просто о «временном революционном правительстве» (пустая форма, которую историческому процессу предоставляется заполнить неизвестно каким содержанием), а о революционном рабочем правительстве, о [illegible] российским пролетариатом.

Всенародное учредительное собрание, республика, 8-ми часовой рабочий день, конфискация помещичьих земель,— все это лозунги, которые будут наряду с лозунгами немедленного прекращения войны, права наций на самоопределение и Соединенных Штатов Европы играть огромную роль в агитационной работе социал-демократии. Но революция есть, прежде всего, проблема власти—не государственной ф о р м ы (учредительное собрание, республика, соединенные штаты), а с о ц и а л ь н о г о с о д е р ж а н и я власти. Лозунг учредительного собрания или конфискации помещичьих земель совершенно лишается, в наличных условиях, непосредственного революционного значения без прямой готовности пролетариата бороться за завоевание власти. Ибо, если пролетариат не вырвет власти у монархии, то не вырвет никто.

Каким темпом пойдет революционный процесс, вопрос особый. Он зависит от ряда факторов, военного и политического, национального и международного порядка. Эти факторы могут замедлить развитие или ускорить его, обеспечить революционную победу, или снова привести к поражению. Но во всех этих условиях пролетариат должен видеть ясно свой путь и сознательно идти по нему. Прежде всего, он должен быть свободен от иллюзий. А худшей иллюзией для пролетариата во всей его истории до сих пор неизменно оказывалась надежда на других.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКИЙ МИР»
МОСКВА
М. ЗНАМЕНСКИЙ, 8
ТЕЛЕФОН 52-82

СКЛАД ИЗДАНИЯ:

ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО В. Ц. И. К.
„ЦЕНТРОПЕЧАТЬ", ТВЕРСКАЯ, 38.

Цена 8 р. 50 к.